АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1975

СОДЕРЖАНИЕ

И. К. Белодед (Киев). Функционирование языков народов СССР в условиях расцвета социалистических наций 3
В. А. Аврорин (Ленинград). О предмете социальной лингвистики 11

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. М. Курманбаев (Алма-Ата). Заметки о картезианских основаниях генеративной лингвистики 18
В. В. Лопатин (Москва). Так называемая интерфиксация и проблемы структуры слова в русском языке 24
И. С. Улуханов (Москва). Отношение мотивации между глаголом и существительным со значением действия 38
Э. В. Севортян (Москва). Всегда ли при реконструкции необходим фонетический архетип всего слова? 46
М. Д. Степанова (Москва). Вопросы моделирования в словообразовании и условия реализации моделей 53

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. Г. Рудин. Специализированные глагольные сочетания тамильского языка 64
Б. Б. Ходорковская (Москва). Сигматическое будущее в оскско-умбрском 77
Р. К. Потапова, Н. Г. Камышная (Москва). Слог и его перцептивно-временные корреляты 87
Л. Н. Мурзин (Пермь). Вопросы деривации предложения в русской логической грамматике XIX в. 94

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. А. Никонов (Москва). Состояние и задачи ономастических исследований Кавказа 102

Рецензии

Н. А. Мещерский (Ленинград). *Б. А. Ларин.* Эстетика слова и язык писателя 117
Р. А. Будагов (Москва). *A. Lombard.* La langue roumaine 119
Г. А. Климов (Москва). *E. Matteson* (*et al.*). Comparative studies in Amerindian languages 121
Ф. П. Сороколетов (Ленинград). «Назиратель» 125

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 129

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55
Зав. редакцией *Г. В. Строкова*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1975 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

И. К. БЕЛОДЕД

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В УСЛОВИЯХ РАСЦВЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАЦИЙ

Осуществление ленинской национальной политики КПСС, претворение в жизнь учения В. И. Ленина по национальному вопросу, в частности в области национально-языкового строительства в социалистическом обществе, явилось творческой основой развития национальных языков всех социалистических наций и народностей СССР. Многие ранее бесписьменные языки народов нашей многонациональной страны обрели свою письменность, развили свои литературные языки в полном объеме их функционирования. Старописьменные языки получили широкие возможности для свободного развития на научных основах, для функционирования во всех сферах жизни социалистического общества. В СССР нет языков «государственных» и «негосударственных»— все они равноправны, все развиваются в условиях широкого содействия со стороны КПСС и Советского правительства, в равных условиях социалистической действительности, социального, научно-технического, общего культурного, духовного прогресса, способствующего продвижению языков всех народов СССР по пути их обогащения и совершенствования на уровне современной цивилизации.

В языковой жизни социалистических наций и народностей СССР сложилась практика гармонического двуязычия, при котором языки народов СССР, достигшие своего расцвета, функционирующие во всех сферах жизни и деятельности общества, сочетают эти функции с функциями общего языка межнационального общения и единения народов СССР, добровольно избранного ими для этой цели,— русского языка, способствовавшего и способствующего творческому развитию и совершенствованию всех языков народов страны на путях их взаимосвязи, взаимных контактов, взаимообогащения. Русский язык стал вторым родным языком народов СССР, языком международного действия.

Расцвет языков народов Советского Союза полностью опровергает утверждения капиталистической пропаганды, в том числе клеветнические вымыслы буржуазных националистов, сионистов, различного рода ревизионистов, то о якобы имеющем место в нашей стране процессе «русификации», насильственной ассимиляции, неравноправии национальных культур и языков, то о создании множества языков, «дроблении» общего языка якобы с целью «более легкого управления народами», то о «нестандартности» языков некоторых народов, например украинского, потому, мол, что в их кодификации не учитывается «язык» буржуазно-националистических элементов, находящихся в некоторых зарубежных странах. Богатство национальных литературных языков народов СССР, высокий уровень развития их функциональных стилей, гармоническое сочетание многогранных функций национальных языков народов с функциями общего языка межнациональных сношений — русского языка, опыт национально-языкового строительства в СССР завоевали признание и уважение во всем мире и служат примером для языкового строительства народов мно-

гих стран Африки, Азии, Латинской Америки и других, борющихся за свои социальные и национальные права, за свою культуру и свой язык.

Многие прогрессивные зарубежные ученые-лингвисты, социологи видят правду и в этой сфере жизни советской страны и в своих книгах и статьях реалистически отображают нашу языковую действительность. Так, например, американский общественный деятель, социолог У. Таунсенд в книге «Они нашли общий язык. Общность на основе двуязычия» [1], явившейся результатом двух поездок автора в СССР, убедительно показывает сочетание развития национальных языков народов СССР и функции языка межнационального общения — русского языка — во всех сферах деятельности советских людей. Автор подчеркивает, что с помощью национальных языков, создания письменности на этих языках была поднята грамотность и культура ранее отстававшего в этом отношении населения окраин. С помощью русского языка, овладение которым происходит на базе глубокого уважения к национальным языкам, наши народы приобщаются к достижениям всех народов СССР, к общей науке и культуре, к культурным ценностям мира. У. Таунсенд призывает использовать советский опыт развития национальных языков, грамотности и культуры народов на этой основе — в странах Азии, Африки, Океании, Латинской Америки, в пределах США. Автор с восхищением пишет «о сильном чувстве уважения Ленина к родному языку каждого человека» [2].

Развитое социалистическое общество Советского Союза, советский народ как новая историческая общность людей характеризуются рядом отличительных черт. В их числе, прежде всего,— однотипность социальной структуры каждой нации, каждой народности, входящей в новую историческую общность людей; здесь усиливается процесс развития социальной однородности.

На широкой базе советской государственности произошло выравнивание экономического и культурного развития всех территориальных, этнокультурных районов (в том числе бывших «окраин») СССР. В Советском Союзе стали объективной закономерностью всестороннее развитие, сближение и взаимообогащение социалистических наций и народностей, в частности их культур. Все эти процессы и явления находят свое отражение и преломление в жизни и развитии языков социалистических наций СССР.

В своей речи в г. Алма-Ате при вручении ордена Дружбы народов Казахской ССР 15 августа 1973 г. товарищ Л. И. Брежнев отмечал: «Говоря о новой исторической общности людей, мы вовсе не имеем в виду, что у нас уже исчезают национальные различия или, тем более, произошло слияние наций. Все нации и народности, населяющие Советский Союз, сохраняют свои особенности, черты национального характера, язык, свои лучшие традиции. Они располагают всеми возможностями добиться еще большего расцвета своей национальной культуры.

В то же время советский народ — это уже не просто сумма наций, которые живут бок о бок в одном государстве, под одной, так сказать, крышей. У наших людей, независимо от их национальной принадлежности, есть много общих черт, которые объединяют их в одно монолитное целое. Это — общность идеологии, общность исторических судеб. Это — общность условий социально-экономической жизни, коренных интересов и целей. Это — развивающаяся общность советской социалистической культуры, которая вбирает в себя все истинные ценности каждой из национальных культур» [3].

---

[1] W. C. Townsend, They found a common language. Community through bilingual education, New York—London, 1972.

[2] Там же, стр. 4.

[3] «Правда» 16 VIII 73.

Это положение ставит перед языковедческой наукой задачи всемерно совершенствовать языки социалистических наций, способствовать развитию всех функциональных стилей литературного языка — научного, публицистического, делового, эпистолярного, художественно-беллетристического и т. п.— всех компонентов языка социалистической нации, отображающих богатство и красоту духовного мира человека социалистического общества. Вместе с тем языкознание должно способствовать развитию, вопреки проявляющимся вульгарно-прагматическим тенденциям, социально-эстетических моментов языкового творчества, красоты и силы языка, его многообразия и яркости.

Языковеды должны видеть не только прогрессивные, но и те негативные тенденции в развитии языка, которые возникают в результате непонимания некоторыми лицами исторически обусловленных путей развития языка, его роли как орудия передовой мысли, видеть остаточные элементы, которые естественным путем отходят в историю. Бездумное, неоправданное введение в язык художественной литературы, например, жаргонной речи, «выравнивание» всех стилей литературного языка в целом, языка произведений различных жанров и речи персонажей под единый шаблон, культивирование лженародных слов и форм лишает литературный язык его красоты, силы, логики.

Во многих направлениях эти задачи языковедческой науки тесно соприкасаются с задачами словесно-художественного творчества мастеров слова нашей многонациональной художественной литературы, не только фиксирующей многообразное языковое творчество народа, но и создающей, используя классические традиции, высокие образцы словесно-художественных обобщений, продвигающих вперед развитие искусства слова, его действенную силу в жизни общества и отдельного человека. Это относится также к мастерам слова публицистического, мастерам научного и научно-популярного стилей литературного языка, чьими творческими усилиями также совершенствуются грани литературного языка.

В процессе всестороннего развития и взаимообогащения языков социалистических наций, возрастающей роли русского языка как общего языка межнационального общения народов СССР в языковой жизни советского многонационального народа сформировался и формируется ряд общих принципов и черт этого развития.

Характерной чертой развития языков социалистических наций является отсутствие антагонизма между ними в процессе их функционирования, недопустимость какого-либо принижения этих языков. Всем характером общественной жизни социалистического общества, законодательно — соответствующими статьями в Конституции СССР и Конституциях союзных республик, политически и методологически — соответствующими положениями Программы КПСС поднят и обеспечен престиж языков социалистических наций и народностей, их равноправие и функционирование во всех сферах общественной жизни.

Социальное единство советского социалистического общества устранило всякие, имевшие место в прошлом, классовые тенденциозные намерения обратить литературный язык в средство духовного порабощения трудящихся масс, средство отграничения просвещения от народных масс, средство бюрократизации всего стиля государственной деятельности вопреки необходимости демократизации и усовершенствования литературного языка на путях развития науки, образования, научно-технического прогресса и эстетических требований. Литературный язык в его письменной и устной разновидностях в результате культурной революции в стране, развития среднего и высшего образования стал достоянием самых широких масс трудящихся.

Диалектная, жаргонная речь потеряла свое значение и лишь в некоторых случаях наблюдается в специфической локальной среде, в практике некоторой части населения, еще полностью не овладевшей литературной речью.

В результате выравнивания всех республик и районов СССР в производственно-экономическом, научном и культурном отношениях, достижения ими высокого уровня общего развития литературные языки всех социалистических наций выработали в своей структуре все функциональные стили и стали многогранно богатыми языками, способными удовлетворять все запросы общества, современного развития науки, научно-технического прогресса, комплекса социальных преобразований, эстетических требований.

Усилился процесс взаимодействия языков социалистических наций, их взаимообогащения и взаимопроникновения; расширились контакты русского языка с языками народов СССР, возросла роль русского языка и всех литературных языков народов страны в приобщении их к достижениям мировой науки, культуры, к ценностям, вырабатываемым в языках мира. Русский язык стал одним из общепризнанных языков мира.

Характерной чертой языкового развития в период расцвета и сближения социалистических наций является также процесс создания общего фонда социалистических интернационализмов в лексике, фразеологии, особенно в многоотраслевой терминологии, в словообразовательных компонентах и их композиции, в синтаксических и образных средствах выражения.

Выработались и продолжают вырабатываться общие для языков социалистических наций СССР приемы освоения, с учетом национальной специфики, языковых ценностей народов мира, с которыми происходят активные взаимоконтакты. Это способствует расширению общего интернационального фонда языков народов мира.

Расцвет языков социалистических наций СССР и народов стран социалистического содружества, успехи национально-языкового строительства в нашей многонациональной и многоязычной стране являются притягательной силой для народов, борющихся за свои социальные и национальные права, за свободное развитие своих культур и языков против капиталистического угнетения; они противостоят языковой политике капиталистического мира, политике угнетения, принижения языков угнетаемых народов, так называемых «негосударственных» языков.

В идеологической борьбе между миром капитализма и миром социализма язык народа активно выступает и как объект борьбы, и как средство борьбы. Языковая политика капиталистических стран искажает языковые ценности народа, стремится вытравить из слов и выражений их объективный, правдивый, реальный смысл и придать оттенки, которые служили бы классовым тенденциям идеологии капитализма, «оправданию» явлений и фактов капиталистического строя.

Ряд работ, например, в современной американской лингвистике посвящен исследованию политико- и экономико-прагматических функций языка. Так, по мнению Г. Д. Лассвелла, Н. Лейтеса и др., эти функции охватывают многогранные сферы, начиная от «языка» торговли, распродажи, рекламы, бизнеса вообще, «разговора» с держателями акций и т. п. и кончая языком политики — языком власти, правительственных чиновников, политических партий, профсоюзных деятелей, дипломатов и т. п. Этим «языкам», «разговорам», их практической эффективности посвящено много пособий на тему «как поступать» и говорить в таких-то и таких ситуациях. Огромная роль во всей подобной деятельности человека этого, капиталистического, мира и его заправил принадлежит, по мнению авторов, «рече-

вой сноровке», ибо «наше благополучие в необычной степени непосредственно зависит от слов и жестов» [4].

Набор языковых символов, слов и выражений со специальным значением, все эти приемы языкового воздействия, преследующие определенную цель, по мнению авторов, «воспринимаются, будь они действительно правдивы или ложны (это, очевидно, мало беспокоит отправителей — создателей подобной „прагматики коммуникации".— *И. Б.*) массами с такой силой убеждения, что они (массы.— *И. Б.*) с трудом осознают характер этих предпосылок». Эти языковые символы признаны здесь «не только объяснить, но и оправдать специфические (! — *И. Б.*) проявления власти» [5]. Все здесь начинается со «словесного оформления бизнеса» распродажи и кончается «бизнесом» специфических проявлений власти, а это, как известно, выражается в таких, например, «символах», как «миссия на Ханой», вместо «бомбежка Ханоя», «наше присутствие» вместо «военная оккупация», «вьетконговец»—«вьетнамский крестьянин, в особенности тот, который убит „нами"», «вера» — «наши убеждения», «фанатизм»—«их убеждения», «частичная занятость» вместо «безработица» и т. п.[6].

Прогрессивное языкознание всего мира борется за чистоту языков народов, за наполнение слов и выражений объективно-правдивым содержанием, борется за язык народа как орудие просвещения, культуры и науки. Оно выступает против той языковой политики, которая стремится превратить язык в орудие затемнения человеческого сознания, всячески искажает язык народа, препятствует развитию национальных языков народов мира.

Задачей марксистско-ленинского языкознания, прогрессивной лингвистической науки мира является раскрытие этих тенденций и освещение исторически-объективного процесса развития языков народов, борьбы народов за свои социальные и национальные права, за развитие и функционирование своих родных языков, за их взаимоконтакты с языками народов мира.

Советский народ как новая историческая общность людей — это многонациональное единство народов при наличии многообразия языков социалистических наций и могучего средства их межнационального общения и единения этих народов — русского языка, в функционировании которых выработана гармония взаимосвязи и взаимообогащения. Русский язык, будучи одним из важнейших интернациональных компонентов общесоветской культуры, творчески содействует выработке черт интернационализации в языках социалистических наций и народностей СССР.

Как известно, в условиях жизни развитого социалистического общества, расцвета его социалистических наций наряду с высоким развитием общественно-политических, экономических, общесоциальных его черт достигает многогранного расцвета культура, просвещение народа [7], происходит всестороннее развитие «*в с е х* членов общества», что предвидел В. И. Ленин [8]. Возрастает в этот период роль науки, теории, научной информации, коммуникативных средств передачи знаний. Все это, естественно, возлагает на литературный язык, его функциональные стили высокие и многогранные задачи общения, удовлетворения многообразных пот-

---

[4] См.: H. D. L a s s w e l l, N. L e i t e s and associates, Language of politics. Studies in quantitative semantics, Cambridge (Mass.), 1968, стр. 3—4, 5.

[5] Там же, стр. 9—10.

[6] Подробнее см. в кн.: И. К. Б е л о д е д, Язык и идеологическая борьба, Киев, 1974, стр. 20—21 и др.

[7] См. подробнее в кн.: «Развитое социалистическое общество. Сущность, критерии зрелости, критика ревизионистских концепций», М., 1973.

[8] В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 6, стр. 232.

ребностей общества в век научно-технической революции, всестороннего социального прогресса.

Следует подчеркнуть, что и в период научно-технической революции роль естественных языков в жизни общества ни в коей мере не уменьшается, так как эти языки, кроме своих многогранных функций внешнего общения, коммуникации, играют огромную роль в формировании и развитии самого мышления человека, его интеллекта, психики, всего человеческого духовного комплекса. И хотя в этот период большое значение — для специальных целей — приобретают различного вида и типа кодовые языки, необходимо со всей категоричностью подчеркнуть, что язык как объект социально-гуманитарных знаний не может полностью, на всех своих уровнях и гранях, «формализироваться», так как он относится к самой человеческой психологии, к сознательным действиям социального субъекта —человека, к области, где только человек может определить выбор и функцию.

Общим положением научно-технической революции в теоретическом плане является увеличение роли, как говорят философы, человеческого фактора не только в процессе социальной жизни, но и непосредственно в производстве, а это повышает роль всех общественных наук в жизни нашего общества в этот исторический период, в частности, в своей определенной области, и языкознания, науки о функционировании языка во всех сферах общественного бытия.

Прикладная лингвистика является не только средством переработки информации, систематизации и классификации терминологии, элементарного и сложного кодирования и т. п., но и основой для выработки всего общественно-технического механизма отношений «язык человека — машина — язык человека». «Обучение» машины языку человека, создание искусственных, символических языков, формализация — в доступной степени — человеческого языка, необходимая для автоматизированных систем управления,— одна из актуальных задач языкознания в творческом его содружестве с другими общественными науками (прикладной экономикой, логикой, психологией и др.), а также с техническими и математическими науками.

Однако развитие языков народов мира и каждого отдельного языка, особенно в период развитого социалистического общества, в своей определенной части является объектом социального прогнозирования, управления: это касается, например, таких сторон языкового развития и действия, как норма, функционирование различных стилей, совершенствование письменности, частотность форм в лексике, фразеологии, синтаксисе, пути создания терминологических систем, выработка интернационального фонда, универсалий и т. п.

Познание социальных законов развития многонационального человеческого общества на основе марксистско-ленинской методологии дает языковедческой науке глубокие возможности прогнозировать, научно предвидеть как процессы жизни всей семьи языков мира, в частности языков социалистических наций, так и каждого языка в отдельности в настоящий период их развития. Развитие языков народов — это не стихийный процесс, а познанная и познаваемая реальность, поддающаяся социальному управлению, что и учитывается при выработке языковой политики социалистического государства на основе научных данных, практики жизни социалистического общества, многонационального и многоязычного советского народа как новой исторической общности людей.

Образцами совершенствования лексико-фразеологического, терминологического, синтаксического уровней языков социалистических наций СССР являются переводы на эти языки произведений классиков марк-

сизма-ленинизма, в частности Полного собрания сочинений В. И. Ленина, Программы КПСС, важнейших документов из истории КПСС, ее творческой революционной деятельности во все исторические периоды ее развития, статей и речей Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, решений съездов и пленумов ЦК КПСС, постановлений Советского правительства, многогранной научной и художественной литературы и т. п.

Примерами развития литературных языков социалистических наций СССР, их стилей является многообразная художественная, научная, публицистическая, научно-популярная литература на этих языках и т. п. В частности, об этом развитии свидетельствуют отраслевые терминологические словари, энциклопедии и другие работы, изданные на языках социалистических наций в каждой союзной республике СССР и в центральных союзных издательствах.

Ярким свидетельством развития национальных языков народов СССР в эпоху развитого социалистического общества, внимания и уважения к ним со стороны Коммунистической партии, Советского правительства, лингвистической и педагогической науки, всей системы просвещения является то, что 1974/75 уч.г. школы многонационального советского общества начинают обучение в первом классе по букварю, созданному на 90 языках народов СССР тиражом до 5 млн. экземпляров.

В связи с тем, что начало этого учебного года совпадало со знаменательной датой в истории культуры русского, украинского и белорусского народов — с 400-летием первого русского букваря великого сына русского народа — восточнославянского просветителя Ивана Федорова, букваря, изданного во Львове в 1574 г., уместным будет напомнить, что многие великие просветители каждого народа нашей Родины стремились создать первоначальную учебную книгу на родном языке, однако осуществить это стало возможным только после Великой Октябрьской социалистической революции. На основе ленинской национальной политики КПСС свыше 40 ранее бесписьменных народов нашей страны впервые, с помощью русского языка, обрели свою письменность, развили, наряду со старописьменными, свои литературные языки.

В числе названных выше 90 букварей этого учебного года отметим такие, например, как буквари на ненецком, чукотском, эвенкийском, мансийском, эскимосском языках, на языке шурых-шарских хантов и др. [9].

Значительным событием является и создание «Энциклопедии кибернетики» в двух томах на украинском языке (Киев, 1973). Это издание — яркое свидетельство творческих возможностей украинского литературного языка, его научного стиля, сложившихся только в условиях социалистического строя жизни украинского народа и его языка.

В «Энциклопедии кибернетики» гармонически сочетаются три группы терминов: 1) интернационализмы, прочно вошедшие в основной лексический фонд украинского национального языка, 2) термины, образованные путем терминологизации лексики основного фонда украинского языка и 3) совершенно новая терминологическая лексика. При создании подобных терминологических систем активизируется, во-первых, в сторону терминологизации общий фонд лексики национального языка; активизируется лексика и фразеология интернационального характера; усваивается и ассимилируется национальными средствами новая, кибернетическая терминология. Во всех этих процессах наблюдается активизация

---

[9] См.: В. Молчанов, С днем рождения, буквари! «Правда» 14 VIII 74.

словообразовательных моделей украинского языка (перевод, калькирование, словосложение, композиты) [10].

В создании терминологической системы «Энциклопедии кибернетики» на украинском языке большую помощь оказал русский язык как близкородственный. В частности, он выступал во многих случаях как посредник при освоении терминов, взятых из других языков. В процессе создания этой украинской терминологической системы были использованы терминологические ценности ряда европейских языков, что увеличило фонд интернациональной терминологии.

Все эти приемы и способы освоения иноязычной терминологии характерны для всех языков социалистических наций СССР.

Развитие и совершенствование языков социалистических наций СССР несовместимо с тенденциями архаизации языка, его замыкания, изоляции. Устраняя эти тенденции, показывая их бесплодность и вредность для прогресса языков в многонациональном социалистическом обществе, советская языковедческая наука борется за развитие национальных языков во всем многообразии их функционирования, за идеологическую чистоту процесса этого развития и научных исследований в этой области, за творческие контакты и взаимообогащение языков народов СССР, за дальнейшие успехи в совершенствовании и применении в многогранной жизни социалистического общества.

Говоря об общенациональной гордости советских людей, об этом великом патриотическом чувстве всего советского народа, об идеологическом единстве всех советских народов, Л. И. Брежнев в своем докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» подчеркивал: «Советские люди — интернационалисты... Но советские люди — все советские люди без различия национальной принадлежности или языка,— гордятся своей великой Родиной... Всем этим по праву гордится каждый советский человек, все сыновья и дочери нашей великой многонациональной Родины, „всяк сущий в ней язык“» [11].

В Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «К советскому народу, к трудящимся всех национальностей Союза Советских Социалистических Республик» в связи с 50-летием СССР говорится: «Все мы, в какой бы советской республике ни жили, на каких бы языках ни говорили,— дети одной матери-Родины — Союза Советских Социалистических Республик» [12].

---

[10] См. подробнее: В. С. Перебійніс, Про деякі закономірності в розвитку термінологічної лексики (на матеріалі «Енциклопедії кібернетики», I—II, Київ, 1973), «Мовознавство», 1974, 4.

[11] Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 61, 62.

[12] «Правда» 30 XII 72.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

В. А. АВРОРИН

О ПРЕДМЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Социальная лингвистика, или, иначе говоря, социолингвистика, зародилась уже давно. Весь пафос учения о языке основоположников марксизма-ленинизма — К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина — заключается в утверждении бесспорной, но далеко не для всех очевидной истины о социальной обусловленности назначения и развития языка. Связанные с этим идеи, как известно, легли в основу лингвистических взглядов П. Лафарга. Понимание зависимости языка от социального прогресса было свойственно уже Я. Гримму, отметившему такую зависимость в предисловии к своей «Немецкой грамматике» [1]. В той или иной форме об этом недвусмысленно говорили многие крупные языковеды — представители почти всех лингвистических школ: Б. Дельбрюк и Ф. Ф. Фортунатов, А. Мейе и Ж. Вандриес, Дж. Бонфанте и Э. Сепир. Вовсе проходили мимо этой зависимости, стараясь не замечать ее, по сути дела только ортодоксальные младограмматики да структуралисты датского и американского толка.

Из лингвистов наиболее отчетливо выразил еще в прошлом веке зависимость развития языка от развития общества И. А. Бодуэн де Куртенэ в своем учении о внутренней и внешней истории языка. Несколько позднее, уже в начале нашего века, сходные мысли о наличии в языке внутренних и внешних элементов высказал Ф. де Соссюр, поставив при этом внешние элементы за рамки задач собственно лингвистического исследования.

Для советских языковедов уже с двадцатых годов, т. е. с их первых шагов по овладению марксизмом, зависимость эта становится бесспорной, хотя и не всегда одинаково понимаемой в деталях. Работы советских языковедов того периода не ограничивались констатацией социальной обусловленности языкового развития, но содержали в себе и конкретные исследования многих связанных с этим явлений. В этой связи следует назвать имена таких замечательных ученых, как Л. В. Щерба, Н. М. Каринский, Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, Н. Я. Марр, В. М. Жирмунский, Г. О. Винокур, М. В. Сергиевский, В. В. Виноградов, Е. Д. Поливанов, К. Н. Державин. Особенно плодотворными были их исследования социальной дифференциации языка [2].

В ходе истории развития советского языкознания бывали периоды спада и подъема интереса к общественной обусловленности языка, но ни один из этих периодов не знаменовал собой отказа от такой постановки вопроса. Поэтому получившее отражение в печати мнение о том, что социальная лингвистика родилась будто бы только во второй половине нашего века, нельзя считать обоснованным.

Другое дело — вопрос о предмете социальной лингвистики. Между лингвистами нет единомыслия по этому поводу. Больше того, вопрос

---

[1] См.: J. Grimm, Deutsche Grammatik, I, Göttingen, 1819.

[2] Об этом периоде см.: В. М. Жирмунский, Марксизм и социальная лингвистика, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 7—14.

этот чаще всего не обсуждается и даже не ставится. Молчаливо предполагается, что социальная лингвистика изучает все то, что в языке и его развитии связано с факторами социального порядка. Не нарушает традиции и последняя из известных мне работ на эту тему — статья И. Крауса, опубликованная недавно в «Вопросах языкознания» [3].

Язык обладает двумя тесно связанными, но относительно самостоятельными сторонами — структурной и функциональной.

Понимание структурной стороны языка не вызывает кривотолков. Здесь всеми лингвистами имеется в виду, коротко говоря, синхронное состояние и процесс изменения механизма языка — его структуры.

Функциональная сторона языка (равно как и любой формы его существования) — это его роль в жизни конкретного общества, выполнение им своего назначения во всех сферах общественной жизни данного народа, Другими словами, функциональную характеристику «языкового образования» [4] определяет то место, которое оно (языковое образование) занимает в конкретной языковой ситуации [5], а языковую ситуацию составляет взаимодействие сосуществующих в практике общения данного народа или же населения данной территории языковых образований. Как видим, содержание двух сопоставляемых здесь понятий во многом совпадает. Различает их то, что первое касается каждого отдельного языкового образования и его жизни в обществе, тогда как второе исходит из коммуникативных потребностей конкретного общества и имеет в виду их удовлетворение путем распределения ролей между сосуществующими языковыми образованиями.

С другой стороны, языковая ситуация — это компонент сложнейшей системы общественных отношений в рамках того или иного сообщества людей: народа, его подразделения или совокупности народов. В то же время она и сама составляет довольно сложную систему многочисленных компонентов, лежащих в разных плоскостях, но скрепленных между собой причинно-следственными связями. Важнейшим из этих компонентов, определяющим собой в конечном счете все остальные, служат социально-исторические условия жизни народа и его языка. Изменение этих условий, отражающее ход социального прогресса, последовательное продвижение общества по иерархической лестнице социально-экономических формаций изменяет как количественно, так и качественно характерный для данного народа набор сфер человеческой деятельности, таких, как производство, быт, общественно-политическая деятельность, судопроизводство, просвещение, массовая информация, наука, искусство, религия и мн. др. Изменения в области сфер общественной деятельности вызывают количественные и качественные изменения в наборе сосуществующих и взаимодействующих форм существования языка (диалектный, наддиалектный и общенародный язык, народно-разговорный и литературный, бесписьменный и письменный, национальный и межнациональный язык, арготические, литургические, креольские, кастовые, женские и другие специализированные разновидности языков).

Все перечисленные выше компоненты, составляющие своего рода экологическую обстановку, т. е. социально-исторические условия, система сфер общественной деятельности и форм существования языка, а также характер взаимодействия сосуществующих языков, являются факторами, определяющими перемены в языковой ситуации.

---

[3] И. Краус, К общим проблемам социолингвистики, ВЯ, 1974, 4.

[4] См.: Л. Б. Никольский, Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое развитие, сб. «Язык и общество». М., 1968, стр. 117.

[5] Ср. определение языковой ситуации у Л. Б. Никольского (там же, стр. 209—210).

Хотелось бы предупредить возможное, характерное, например, для работ У. Лабова, Дж. Гамперца, Г. Крокетта, смешение языковой ситуации с ситуацией речевой, т. е. суммой обстоятельств, сопровождающих конкретный речевой акт. В настоящей статье разговор идет о ситуации, в которой живет язык, иначе говоря, о макроситуации, а никак не о ситуации отдельного речевого акта — не о микроситуации. Это явления принципиально разные.

Все специалисты как будто единодушны в том мнении, что изучение функциональной стороны языка и теснейшим образом связанной с ней языковой ситуации входит в круг задач социолингвистики как особого направления общего языкознания. Сложный и изменчивый характер языковой ситуации, а значит и функциональной стороны языка, прямая и непосредственная каузальная зависимость их от внеязыковых факторов определяют собой пограничное положение социолингвистики.

Поскольку социолингвистика изучает одну из сторон языка — его общественное использование с учетом форм его существования, она одной из своих граней, причем наиболее важной, обращена в сторону языкознания, являясь его составной частью. Но есть у социолингвистики и такие грани, которые обращены в сторону наук, изучающих структуру человеческого общества, ее функционирование и развитие, другими словами, в сторону истории, этнографии, социологии и социальной психологии. Не случайно этнографы и социологи проявляют в последнее время все возрастающий интерес к таким социолингвистическим проблемам, как двуязычие, межнациональное общение и функциональное взаимодействие языков. Сошлюсь хотя бы на опубликованное недавно Институтом этнографии АН СССР исследование «Социальное и национальное», где целая глава посвящена важным проблемам социолингвистики [6].

Для изучения языковой ситуации нет надобности изобретать новую методику. Вполне можно обойтись давно уже апробированными исследовательскими приемами, набор которых обширен и разнообразен. Как это ни парадоксально, меньше прочих могут найти себе применение собственно лингвистические методы. Они необходимы лишь для определения форм существования языка с целью четкого их разграничения и, быть может, еще при изучении некоторых проблем двуязычия, особенно для выявления его интенсивности и случаев межъязыковой интерференции. Предпочтение же, несомненно, должно быть отдано методам исторических и конкретно-социологических исследований, таким, как непосредственное наблюдение, анализ документальных источников, интервьюирование и массовый анкетный опрос. Это в еще большей мере укрепляет пограничную позицию социолингвистики.

Неясным и спорным остается вопрос о предмете социолингвистики. История этой научной дисциплины сложилась так, что к ее компетенции стало принято относить те изменения в структуре языка, которые возникают под воздействием факторов социального порядка, а также все, что связано с функциональной стороной языка, оставляя на долю обычной, традиционной лингвистики лишь то, что непосредственно относится к структуре языка и изменяется без очевидного воздействия социальных факторов. Таким образом, к социолингвистике отнесено все, что касается функциональной стороны, и это, понятно, не вызывает ни у кого возражений. Но сюда же обычно относят и часть того, что касается его структурной стороны — то, что в ней явным образом социально обусловлено, тогда как к традиционной лингвистике отнесена вторая часть структур-

[6] «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований», М., 1973, стр. 230—272.

ной стороны, социальная обусловленность которой якобы сомнительна. Единое целое — структура языка — оказалось разорванным на самостоятельные объекты двух разных научных дисциплин. Больше того, линия водораздела прокладывается не только через живое тело структуры языка, но и через отдельные его участки, отдельные парадигмы. В то же время к одной из этих дисциплин — к социолингвистике — неправомерно причислены две принципиально различные стороны языка: одна, функциональная, целиком, а другая, структурная, частично. Такое разграничение научных дисциплин и их предметов едва ли можно считать логически оправданным.

Но это еще не все. Нужно к тому же убедиться в возможности разделения явлений и процессов, связанных со структурой языка, на два хотя бы относительно устойчивых и самостоятельных класса — на социально обусловленные и какие-то иные, стоящие в оппозиции к первым, т. е. те, которые, логически рассуждая, придется признать «социально не обусловленными». Попробуем поискать такую возможность.

Общеизвестно, что у языка как явления социального по самой своей природе нет и не может быть никаких иных задач, помимо сугубо социальных. Никакими иными функциями, кроме общественных,— ни физическими, ни биологическими — язык не обладает и обладать не может. Поэтому любое изменение в языковой структуре, любой шаг в ее развитии в конечном счете направлены, как удачно выразился Б. А. Серебренников, «к улучшению языкового механизма и к поддержанию этого механизма в состоянии коммуникативной пригодности» [7], т. е. теснейшим образом связаны с чисто социальными целями. Все дело только в том, что одни изменения в языке происходят очевидным образом и непосредственно под влиянием тех перемен, которые совершаются в общественной жизни, другие же зависят от них менее очевидно и менее непосредственно — лишь по своим конечным результатам. Нередко они, особенно до углубленного их изучения, кажутся нам даже вовсе не зависящими от внеязыковой действительности, управляемыми исключительно имманентными внутренними законами. Такая иллюзия возродилась и довольно долго господствовала у нас после лингвистической дискуссии 1950 г., чему способствовало увлечение входившей тогда в моду глоссематикой.

Очевидно, что одни языковые изменения являются результатами сознательного регулирующего воздействия со стороны общества и его членов, другие же происходят стихийно, в результате, как теперь принято говорить, «давления системы» самого языка. И все же в языке, в его структуре, видимо, нет ничего, что так или иначе не было бы в конечном счете социально обусловленным, вызванным потребностями общества и служащим их удовлетворению. Нужно только опасаться вульгарно-социологических крайностей и не представлять себе зависимость между языком и обществом как прямую, непосредственную и автоматическую.

Между жизнью общества и языковой структурой лежит немало посредствующих звеньев, среди которых заметное место принадлежит функциональной стороне языка. При каждом языковом изменении эти звенья действуют, но не всегда все, не всегда одни и те же и не всегда одинаково. Неравномерное участие посредствующих звеньев вместе со специфическими особенностями структуры конкретного языка приводят к тому, что одинаковые причины рождают в разных языках неодинаковые следствия.

---

[7] Б. А. Серебренников, Об относительной самостоятельности развития системы языка, М., 1968, стр. 41.

Все уровни языковой структуры, хотя и в разной мере, подвержены влиянию социальных факторов. Не составляет исключения даже такой, казалось бы, автономный, асемантический уровень, как фонетика, связи которой с общественным развитием наименее очевидны. Ф. Энгельс был бесспорно прав, говоря, что фонетические законы языка нельзя выводить из экономики. Но это не следует понимать упрощенно, как отрицание какой бы то ни было связи между историей общества и развитием звуковой стороны языка. Прямой зависимости здесь, понятно, нет: экономика на произношение не влияет. Но ведь определенный уровень социально-экономического развития приводит либо к дифференциации, либо к интеграции диалектов, а также к установлению прочных и долговременных контактов с соседними народами, порождающих влияния одних языков на другие, а эти процессы в свою очередь вызывают порой весьма значительные изменения во всех уровнях языковой структуры, в том числе и в фонетическом. Следовательно, благодаря ряду посредствующих звеньев социальная обусловленность и здесь оказывается несомненной.

Правда, по-видимому, можно обнаружить и такие случаи, когда указанные факторы как будто бы не действуют, когда фонетические изменения происходят под непосредственным «давлением системы». Но даже и здесь конечной целью изменений следует считать осознанное или неосознанное усовершенствование языка, поддержание его коммуникативной пригодности. Просто так, ни с того, ни с сего, ради каприза отдельных лиц ничего в языке произойти не может: вернее, может что-то промелькнуть в речи индивидов, но не может закрепиться в общенародном употреблении и перейти из фактов речи в факт языка. Поэтому, например, получившее в русском языке довольно широкое распространение произношение твердых согласных перед /е/ в словах *шинель*, *пионер*, *без*, *зеркало*, *тема*, употребление прилагательного *качественный* взамен *высококачественный* или *доброкачественный*, неправильное управление падежом числительного со стороны наречий типа *около двести* вместо *около двухсот* и т. п. не стали нормой русского литературного языка и продолжают оставаться на уровне индивидуальных речевых погрешностей.

Но есть немало и таких случаев, когда изменения, казавшиеся до определенного времени спонтанными, затем, после более углубленного изучения, раскрываются как производные чисто социальных факторов, таких, например, как влияние контактирующих языков. Так, например, долгое время считалось, что возникновение русского «аканья» есть результат чисто спонтанных процессов. Однако не так давно В. И. Лыткин высказал не лишенное серьезных оснований мнение о том, что здесь сказалось влияние на русский язык контактировавших с ним древних финно-угорских языков волжской группы. Влиянием финно-угорских языков с некоторых пор стали объяснять замену разноместного ударения регулярным на первом слоге в латышском и в некоторых северных говорах русского языка. Долгое время возникновение соответствия более ранних германских *twai* «два» и *þreis* «три» немецким *zwei* и *drei* объяснялось «удобством произношения», «экономией труда», но сейчас общепринятой стала иная трактовка, имеющая в виду языковое смешение. Исчезновение перебоя гласных в формах современного французского глагола младограмматики объясняли законом аналогии, но сейчас это связывается как будто с завоеванием диалектом Иль-де-Франс позиции национального языка. Подобные колебания наблюдались в объяснении причин утраты финно-угорскими и отдельными говорами тюркских языков строгого ранее закона сингармонизма, появления в осетинском языке ряда смычно-гортанных согласных, образования многочленной парадигмы падежей в якутском

языке, перехода значения орудности от дательного падежа к родительному в маньчжурском языке и многого другого [8].

Все, что изменяется в структуре языка, изменяется в конечном счете не для самого языка и не по его собственной воле или вине. Все это происходит или непосредственно под влиянием социальных факторов (некоторые подобного рода влияния, ввиду их порой очень сложного переплетения, могут приводить не только к улучшению, но и к временному усложнению структуры языка), или же в результате «давления системы», за которым может стоять целая цепь взаимообусловливающих факторов, причем начальный фактор нередко настолько многократно опосредован, что о его существовании можно и не подозревать. Однако социальная природа языка диктует логическую необходимость признания наличия такого исходного фактора и его принадлежности к факторам социального порядка. Это хорошо понимали уже наши непосредственные предшественники. Г. О. Винокур, например, писал: «...у внутреннего механизма языка есть свои собственные законы построения, от того или иного существа которых во многом зависят конкретные явления фактического развития языковой системы. Но движет этим механизмом все-таки не сам язык, как некая имманентная автоматическая сила, а человеческое общество, осуществляющее в своих действиях свое историческое назначение» [9].

Таким образом, если исходить не из внешней видимости, а из глубинного содержания языковых процессов, то едва ли можно считать правомерным деление языковых явлений на социально обусловленные и социально не обусловленные. Допустимо говорить лишь о том, что одни из них обусловлены социальными факторами более очевидно, а другие — менее очевидно, одни обусловлены в большей степени непосредственно, а другие — в меньшей. Но обнаружить между теми и другими сколько-нибудь четкую, реально существующую границу оказывается невозможным. А это лишает почвы привычное для нас и уже значительно отдалившееся от идей И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра деление лингвистики на внешнюю и внутреннюю, а тем более — выделение социолингвистики только на этом основании в самостоятельную дисциплину.

Нетрудно понять, что степень очевидности или непосредственности есть величина слишком туманная и неустойчивая. Выше были приведены примеры того, что недостаточная изученность и односторонний угол зрения давали основания для трактовки многих фактов языка как имманентных ему, а при более глубоком исследовании выявлялась их зависимость от социальных факторов. К этому следует добавить большое число спорных случаев. Можно ли считать допустимым массовое перенесение на этом основании языковых фактов из традиционной лингвистики в социальную? А ведь именно этого требует укоренившееся разделение интересующих нас научных дисциплин, поскольку все, что сегодня еще не очевидно, завтра может стать бесспорным. В этом-то и состоит задача, а вместе с тем и сила науки. Столь же сомнительна и правомерность рассмотрения и там и тут одних и тех же, но по-разному трактуемых фактов.

И все же выделение социолингвистики как особого, относительно самостоятельного направления в науке о языке не только возможно, но и вполне целесообразно. Для нее может быть установлен особый, строго ограниченный предмет изучения, которым до недавнего времени специально не занималась ни одна наука, ни одно научное направление. Этим предметом является функционирование языков и характерные для этни-

[8] Примеры из индоевропейских языков заимствованы из работ Б. Дельбрюка. Б. А. Серебренникова и Ю. С. Степанова.

[9] Г. О. Винокур, О задачах истории языка, «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», V, 1941, стр. 11.

ческих коллективов языковые ситуации. Мне кажется, что научное направление именно с таким предметом исследования имеет наибольшие основания именоваться социальной лингвистикой, или социолингвистикой, потому что именно оно ориентировано на чисто социальную сторону языка. Именно функционирование языка в связи с языковой ситуацией и представляет собой тот единственный специфический и вполне достаточный предмет изучения, который способен оправдать относительную самостоятельность социальной лингвистики.

Граница между традиционными областями языкознания и социолингвистикой при таком ее понимании обусловлена не эфемерным различием между *социальным* и «*несоциальным*» в структуре языка, а вполне реальной самостоятельностью двух сторон языка: структурной и функциональной [10].

Изучение языковой ситуации как субструктуры в структуре общественных отношений представляет большой теоретический интерес для целого комплекса гуманитарных наук. Но в то же время он имеет и неменьший практический смысл, так как обеспечивает возможность прогнозирования и сознательного управления деятельностью языков, т. е. того, что иначе называют «языковым планированием» (language planning).

Именно языковую ситуацию, а вовсе не сумму языковых функций, как это принято думать, мы всегда по сути дела и имеем в виду, когда говорим о функциональной стороне языка, о его функционировании или о его функциональном развитии. Все только что названные термины далеко не идеальны, поскольку им свойственна многозначность и даже омонимичность, но они уже вошли в употребление и нет особой надобности заменять их другими. Важно только не поддаваться этимологическому соблазну и не допускать на этом основании субституции понятий. «Функциональное» здесь связано не столько с функциями языка, сколько с его функционированием, т. е. с совокупностью ролей, которые он играет в жизни общества.

Вне общества язык существовать и развиваться не может. Именно потребности общественного развития служат в конечном счете импульсами развития языка. Но не следует упускать из виду и обратную зависимость. Человеческое общество не может обходиться без языка как важнейшего, наиболее совершенного и универсального средства общения, формирования мыслей, накопления и передачи опыта.

Если мы возьмем не только язык как таковой, но языковую ситуацию в целом, т. е. сеть отношений между формами существования, сферами употребления и условиями функционирования языка, и наложим ее на систему общественных отношений, то увидим, что первая целиком уместится во второй и перекроет ее почти полностью, оставив частично открытыми лишь области отношений «человек — машина», «человек — природа», но и из них только те, которые не предполагают одновременно связей с другими людьми. Поэтому, между прочим, изучение языковой ситуации неправильно было бы считать делом одних только лингвистов. Оно может и должно входить также в круг задач историков, этнографов, социологов, специалистов по социальной психологии и педагогике. Вернее сказать, это общая задача представителей по меньшей мере шести названных наук. Без кооперации их усилий изучение подобных многогранных проблем неизбежно будет страдать односторонностью, что особенно вредно может отразиться на решении вопросов языковой практики.

[10] Соответственно этому два рассмотренных направления в лингвистике правильнее было бы именовать «структуральным» (как предложил в устном выступлении Н. С. Чемоданов) и «функциональным», если бы за этими терминами не закрепилось уже совершенно иное значение.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. М. КУРМАНБАЕВ

ЗАМЕТКИ О КАРТЕЗИАНСКИХ ОСНОВАНИЯХ ГЕНЕРАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Когда возникает запутанная, непонятная лингвистическая концепция, необходимо обратиться к той философии, которая лежит в основе этой концепции. Как ни странно, именно неуловимостью своих основных понятий увлекла многих генеративная лингвистика, связанная с именем современного американского лингвиста Н. Хомского. Ранние работы Н. Хомского привлекали внимание небезосновательной критикой некоторых лингвистических учений прошлого. Н. Хомский выступил против точки зрения Уитни, трактовавшего язык как сумму слов и словосочетаний, а усвоение языка — как запоминание готовых словоформ и предложений. Н. Хомский посмел поставить в упрек Соссюру, что тот сводил задачу лингвистики лишь к изучению инвентаря элементов языка, игнорировал творческий аспект языка и потому не сумел проникнуть в тайны, лежащие в основе образования предложений [1]. Н. Хомский отважился указать на слабые стороны структурной лингвистики, когда она еще всецело доминировала над другими лингвистическими направлениями, и даже высказал опасение, что структурная лингвистика может вылиться в изучение чистых фикций [2]. Рецензия Н. Хомского на книгу Б. Скиннера «Речевое поведение» довольно сильно потрясла основы бихевиористской концепции речи. Все это создало Н. Хомскому репутацию лингвиста, спешащего свести теоретические счеты со своими предшественниками и современниками для того, чтобы «расчистить строительную площадку» для некоторой новой, небывалой лингвистической теории.

Вначале Н. Хомский искал новые подходы к изучению языка на путях совершенствования трансформационной грамматики, которая описывала текст как нечто производное от небольшого числа ядерных или простых повествовательных предложений некоторого языка в результате их трансформации в более сложные формы предложений этого языка. Но Н. Хомский раньше многих других увидел, что трансформационная грамматика, дальнейшее развитие которой уже связывали с его именем, не ведет к познанию механизмов речи и никакие усовершенствования ее приемов не могут привести к удовлетворительному объяснению творческого аспекта речи. Это значило, что нужно менять само направление научного поиска. В этот ответственный момент чутье незаурядного ученого подсказало Н. Хомскому, что без обращения к философии ему не удастся сказать что-либо существенно новое и значительное о языке. Но к какой философии обратиться? К философии Бэкона? Декарта? Канта? Гегеля? Маркса?

[1] Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 479.

[2] Там же, стр. 480.

В самый решающий момент своей научной карьеры Н. Хомский обратился к философии выдающегося французского философа, математика, физика и физиолога XVII в. Р. Декарта, в прошлом более известного под латинизированным именем Картезия. Именно картезианская философия определила направление и характер всей развиваемой теперь Н. Хомским лингвистической концепции. Понятие ядерных предложений как простейших предложений некоторого конкретного языка было отброшено; взамен появились понятия глубинной и поверхностной структуры; понятие трансформации или порождения речи наполнилось совершенно иным, чем до этого, содержанием. Так родилась генеративная лингвистика Н. Хомского.

Многие люди пытаются разобраться в том, что такое генеративная лингвистика и глубинная структура по работам Н. Хомского «Аспекты теории синтаксиса» и «Язык и мышление» и удивляются тому, до чего же это неуловимые понятия. В связи с этим необходимо обратиться к основаниям философии Декарта, которой генеративная лингвистика, по признанию самого Н. Хомского, обязана своими основаниями.

Одним из основных постулатов Декарта является принцип существования духовной субстанции, сущность которой заключена в мышлении и которая не зависима от тела. Вместе с тем Декарт признает и существование материальной субстанции, не зависимой от духовной субстанции. Дуализм Декарта был следствием его неспособности решить проблему происхождения идеального, следствием его неумения исторически, диалектически поставить и решить проблему взаимоотношения материального и идеального. Этот дуализм с необходимостью должен был привести Декарта к выводу о внеопытной природе человеческого познания, к выводу о непосредственной интуитивной данности знания вообще и наиболее общих идей и понятий в частности. Неудивительно поэтому, что интуиция оказывается центральным положением метода Декарта, известного в истории философии как картезианский рационалистический метод познания. В методе Декарта практике, опыту отводится лишь роль второстепенного, вспомогательного средства познания. При этом разум, а не опыт и не практика, является, по Декарту, единственным критерием истинности полученного наукой знания. Свое первое правило для руководства ума Декарт формулирует в словах: «...все знания в целом являются не чем иным, как человеческой мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к которым она применяется, и если это разнообразие имеет для нее не более значения, нежели для солнца разнообразие освещаемых им тел, то не нужно полагать человеческому уму какие бы то ни было границы» [3].

Это основное положение рационалистического метода Декарта, родившегося в борьбе со средневековым схоластическим методом мышления и сыгравшее в свое время прогрессивную роль, впоследствии предстает как гипотетико-дедуктивный метод, разрешающий исследователю игнорировать происхождение и развитие предмета исследования. Рационалистический метод сегодня сознательно или несознательно противопоставляется диалектическому методу мышления, который кладет четкие пределы уму или познавательной деятельности человека в виде требования подходить к предмету исследования с точки зрения его возникновения и развития.

Порождением рационалистического метода Декарта явилась теория врожденных идей, согласно которой существуют понятия настолько самоочевидные, что они приобретаются не опытным путем, не через обучение,

[3] См.: Р. Декарт. Избр. произв., М., 1950, стр. 79—80.

а рождаются вместе с человеком. Такие понятия при обучении могут быть лишь затемнены, «замутнены».

История философии засвидетельствовала острую борьбу философов — сторонников и противников теории врожденных идей и понятий. Эта теория, выдвинутая в XVII в. и развиваемая такими крупными философами-идеалистами, как Декарт, Мальбранш, Лейбниц, была подвергнута острой критике уже в XVII в. философами-материалистами Гоббсом, Гассенди, Локком и др. Дж. Локк доводит до конца начатое Гоббсом и Гассенди развенчание учения о врожденных идеях. В своей критике этого учения Локк умело использует данные медицины и детской психологии своего времени и богатый фактический материал этнографических исследований жизни народов стран, отставших в своем развитии. Он убедительно опровергает утверждения Декарта о том, что ребенок якобы мыслит еще в лоне матери, поскольку обладает «мыслящей субстанцией», о том, что законы логики и аксиомы математики якобы можно выявить в «незамутненном» внешним опытом виде в сознании необразованных людей [4]. Учению о врожденности идей Локк противопоставляет положение о том, что источником всех знаний является опыт, практика. Правда, Локк признает наличие врожденных задатков в виде совокупности некоторых предрасположенностей или склонностей, но никоим образом не понятийного знания.

Решительную попытку преодоления дуализма Декарта предпринимает Гегель. Он убедительно доказывает соотнесенность, диалектическую взаимозависимость и переход идеального и материального друг в друга. Философскому дуализму Гегель противопоставляет свою концепцию, согласно которой сознание и внешняя действительность по существу тождественны, так как в основе действительности якобы лежит саморазвитие абсолютного духа. Таким образом, картезианскому дуализму Гегель противопоставляет свой идеалистический монизм. Но и в системе Гегеля, как видим, сознание оказывается изначальной формой существования духа, который, по мысли Гегеля, не имеет «вне себя» никаких предпосылок, ничем не детерминирован извне, не нуждается ни в каких внешних условиях. В этом отношении точка зрения Гегеля сближается с точкой зрения Декарта. Если Декарт признавал сознание самостоятельной творческой субстанцией, существующей наряду с материальной субстанцией, то Гегель отводил сознанию, духу роль источника и творца внешней действительности.

К. Маркс переворачивает гегелевскую схему взаимоотношения бытия и сознания и противопоставляет гегелевскому идеалистическому монизму материалистический монизм, согласно которому человек имеет дело с миром вещей, не им созданных, и вынужден обращаться с предметами внешнего мира сообразно их природе и особенностям. Это умение согласовывать свои действия с природой внешних предметов, формирующее мышление человека, и является условием и предпосылкой возникновения и дальнейшего развития языка и сознания. Но что особенно важно, сознание с точки зрения марксизма есть отражение действительности и не только филогенетически, но и онтогенетически восходит к практике, к предметной деятельности человека по преобразованию природы как внешней, так и внутренней, т. е. психической природы человека.

«Перевернув» гегелевскую схему взаимоотношения бытия и сознания, марксизм преодолевает и картезианский дуализм, и гегелевский идеалистический монизм и избавляет науку от необходимости предполагать изначальность или врожденность сознания, языка и мышления. Материалистический монизм резюмируется в материалистическом диалектическом методе,

---

[4] И. С. Нарский, Западноевропейская философия XVIII века, М., 1973, стр. 20.

который не претендует на подмену конкретно-научных исследовательских методик. Он претендует на о т к р ы т и е их как аналогов специфических форм функционирования тех явлений, которые изучает данная наука. Диалектический метод настаивает на том, что такие открытия возможны только при подходе к изучаемым явлениям с точки зрения их становления и развития. Непонимание этого, как правило, сопровождается требованием рационалистической «свободы» научного творчества, которое неизменно оборачивается интеллектуальной анархией.

Во введении к своей книге «Картезианская лингвистика» Н. Хомский приводит слова А. Уайтхеда о том, что умственная жизнь европейских народов в течение последних двух столетий опиралась на фундамент идей гениев XVII в. В связи с этим Н. Хомский полагает, что серьезное изучение параллелей между картезианской лингвистикой и некоторыми современными лингвистическими направлениями (и в первую очередь с генеративной лингвистикой) может оказаться поучительным во многих отношениях. Мы также полагаем, что сравнительное изучение картезианской и генеративной лингвистики может оказаться очень и очень поучительным.

Что же привлекло Н. Хомского в философии Декарта? Прежде всего, американского лингвиста привлекла мысль Декарта о существовании двух субстанций — материальной и идеальной.

Далее Н. Хомского привлекает исключение Декартом человека из животного мира и рассмотрение им разума человека как чего-то изначально данного. Не будучи в состоянии исторически поставить, понять и решить проблему происхождения и сущности человеческого сознания и мышления, Декарт признавал наличие разума только у человека и отказывал животным в психике и элементах разумного поведения. Этим Декарт лишал себя возможности исторически понять человеческую психику, человеческое сознание и мышление, в результате чего он рассматривал человека как явление, не имеющее ничего общего с остальным животным миром. Именно этот антиисторический взгляд на человеческую психику, сознание и мышление заимствует Н. Хомский у Декарта. В одной из своих последних работ Н. Хомский пишет: «...представляется довольно бессмысленным рассуждать об эволюции человеческого языка из более простых систем, столь же абсурдным, как абсурдно было бы рассуждать об „эволюции“ атомов из скопления элементарных частиц» [5]. Но если согласиться с Н. Хомским, то абсурдно рассуждать и об эволюции человека из низших животных форм.

В связи с этим постулируется изначальная данность и идеальной, и материальной сторон языка, причем первая, по мысли Н. Хомского, может существовать не обязательно на основе второй стороны. Так преломляется в концепции Н. Хомского декартовское положение о самостоятельном существовании духовной, или идеальной, субстанции.

Глубинные структуры, по мысли Н. Хомского, как раз и являются разновидностью врожденных интерпретирующих предметы принципов.

Не ограничиваясь только пересказом идей английских, французских и немецких философов-идеалистов, Н. Хомский вносит и свою лепту в дальнейшее развитие идеалистической теории познания в современных условиях. Он пишет: «Важно подчеркнуть, что рационализм семнадцатого века подходит к проблеме познания, в особенности к проблеме усвоения языка, фундаментально недогматическим образом. Он настаивает на том, что знание возникает на основе... свойств, приписываемых уму как предпосылке опыта. Таково должно быть по существу направление мысли

---

[5] Н. Х о м с к и й, Язык и мышление, М., 1972, стр. 12.

и современного ученого, изучающего структуру некоторого устройства, о котором известны только входные и выходные данные» [6].

Таким образом, генеративная лингвистика Н. Хомского подразумевает, что речь, слышимая и видимая, порождается идеальной, существующей вне материального субстрата «глубинной структурой», которая является врожденной и лежит в основе функционирования всех многообразных языков мира.

Генеративная лингвистика резюмируется в гипотетико-дедуктивном методе Н. Хомского, этой современной разновидности рационалистического метода Декарта. Гипотетико-дедуктивный метод Н. Хомского только выдвигает гипотезы, а проверку этих гипотез и разработку или выведение категорий данной науки заменяет верой в интуицию.

Принятие Н. Хомским учения Декарта, Лейбница и Чербери о возможности внеопытного познания и попытки приложения этого учения к объяснению усвоения языка с необходимостью должно было привести его к противопоставлению этой концепции материалистической теории познания. Н. Хомский пишет: «...нормальное использование языка носит новаторский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим..., является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-либо „подобным" по „модели" (в любом подходящем смысле слов „подобный" и „модель") тем предложениям или связанным текстам, которые мы слышали в прошлом» [7]. Совершенно верно, что многое из того, что мы говорим, является новым комбинированием языкового материала, но это новое комбинирование, вопреки утверждению Н. Хомского, происходит по моделям слышанных ранее словоизменений и предложений. В известной книге «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка» А. Н. Гвоздев убедительно показывает, что даже такие речевые новообразования ребенка, как *кладит*, *кладил*, *машинский*, *отзаборил*, *накрапивила* или *себе нос накормил* образованы по моделям слышанных ранее словоформ и предложений, по аналогии с усвоенными словоформами и типами предложений [8].

В противоположность идеализму, материализм, как известно, признает основой познания практику. Уже Гегель вплотную подходил к пониманию того, что формой воздействия человека на предметы внешней природы является труд и что практическое действие человека материально, но он целиком оставался в рамках идеалистического понимания языка как формы изначально существующего духа, сознания.

Положение материалистической философии о роли практики как основы познания противостоит не только представлениям Декарта, Лейбница и Чербери о возможности внеопытного возникновения и усвоения человеком общих понятий, логических фигур и аксиом математики, но и представлениям Н. Хомского о возможности внеопытного усвоения языка.

Н. Хомский в своих работах отстаивает давно преодоленное марксизмом чисто натуралистическое понимание человека, согласно которому только природа определяет все человеческое в человеке. Действительной биологической предпосылкой языковой способности человека является способность к сигнальному отражению действительности, присущая почти всему животному миру. Согласно концепции знака Л. С. Выготского, над сигнальной формой отражения действительности человек надстраивает знаковую форму отражения действительности как выражение актив-

[6] N. Chomsky, Cartesian linguistics, New York, 1966, стр. 65.
[7] Н. Хомский, Язык и мышление, стр. 23.
[8] А. Н. Гвоздев, Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, ч. 2, М., 1949, стр. 113, 185.

ного, преобразующего отношения человека к природе вообще и к своей психической природе в частности. Знак и слово, как и средства и продукты трудовой деятельности человека, и являются теми внешними сущностями, в которых воплощаются специфически человеческие способности, которые передаются от поколения к поколению не биологически, как пение птиц или танцы пчел, а социально — через предметную деятельность и речевое общение.

Резюмируя сравнительное изучение картезианской и генеративной лингвистики, мы приходим к выводу о том, что генеративная лингвистика является попыткой вдохнуть новую жизнь в давно уже развенчанную материалистической философией картезианскую теорию врожденных идей и в преодоленное марксизмом чисто биологическое понимание психических способностей человека. Представляется неслучайным, что среди философов, на учения которых опирается создатель генеративной лингвистики, нет ни одного философа-материалиста. Все авторы, на которых ссылается Н. Хомский, известны как философы-идеалисты.

Выступая против эмпиризма в современной лингвистике, Н. Хомский может противопоставить ему только картезианский рационализм, так как для него развитие философской мысли остановилось на Декарте и после Декарта не сделало ни шагу вперед. Н. Хомский не желает ничего знать о тех огромных завоеваниях философской мысли XIX и XX вв., которые создали гораздо более могучую альтернативу эмпиризму, чем рационализм.

Итак, борьба вокруг теории врожденных идей продолжается. Эта теория в последние годы явилась в лингвистике в новом обличии — в виде глубинных структур Н. Хомского и «латентных языковых структур» Э. Леннеберга. Критическое преодоление этой теории в ее новых вариантах потребует самого серьезного внимания лингвистов к великим обобщениям философской мысли XIX и XX вв., воплощенных прежде всего в диалектике Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина и в дальнейшей разработке диалектического метода познания в трудах современных советских и зарубежных философов-марксистов.

Материализм в лингвистике должен быть воинствующим, чтобы противостоять натиску идеализма, стремящегося к захвату авансцены теоретической лингвистики. Критическое преодоление лингвистических концепций, сложившихся вне диалектико-материалистического подхода к языку, несомненно, является одной из предпосылок успешного развития материалистической теории языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

В. В. ЛОПАТИН

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ИНТЕРФИКСАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

I. В ряде работ последнего времени, прежде всего в работах Е. А. Земской, развивается понятие «интерфикса» как асемантической (незначимой) «прокладки» между морфемами [1]. По поводу этой концепции, имеющей как своих сторонников [2], так и противников, написано уже немало. Хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы морфемной структуры слова, возникающие в связи с этой концепцией.

Исходный пункт ее — понимание морфемы как части слова, наделенной значением, семантической функцией. С таким подходом к морфеме нельзя не согласиться. А. Н. Тихонов справедливо подчеркивает, что при допущении существования «асемантических морфем», обладающих только «структурной функцией», «расщепляется понятие морфемы,... границы морфемы становятся неопределенными и расплывчатыми. Практически, следуя этой формулировке, к морфемам можно относить любые части слова» [3]. Однако из такого правильного подхода к морфеме, с нашей точки зрения, вовсе не обязательно должно вытекать выделение асемантических внеморфемных «прокладок».

Е. А. Земская развивает концепцию «интерфиксов» главным образом на материале «прокладок» между корнем и суффиксом в структуре производных слов (например, отрезков *-ов-*, *-ин-*, *-ан-* и др. перед суффиксом *-ск-* в прилагательных). Отрезки эти, действительно, сами по себе не имеют особого значения (ср., например, *Ленинград — ленинградский* и *Ялта — ялтинский*, *Орел — орловский*, *Африка — африканский*): они ничего не добавляют к тому словообразовательному значению, которое выражено в прилагательных, не имеющих перед суффиксом *-ск-* этих отрезков. А. А. Дементьев попытался доказать, что эти отрезки все же наделены значением: будучи «дополнительными выразителями категории отношения», они являются «самостоятельными суффиксами» [4]. Это едва ли верно. В лучшем случае о таких элементах можно говорить как об усилителях выражения относительного значения (см. ниже), но не как о самостоятельных выразителях этого значения. Усматриваемая А. А. Дементьевым для

---

[1] Наиболее обстоятельно эта концепция изложена в кн.: Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973 (далее постраничные ссылки приводятся в тексте).

[2] Другие авторы называют подобные элементы слова «структемами» (см.: А. Н. Тихонов, Морфема как значимая часть слова, ФН, 1971, 6), «асемантемами» (см.: В. С. Гимпелевич, Асемантемы как незначимые структурные элементы слов, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Самарканд, 1972). В чешской лигвистической литературе в настоящее время также обсуждается вопрос о подобных «связочных морфемах» («конекторах») и о возможности отнесения их к морфемам или к «полуморфемам» [см.: «Vědecká synchronní mluvnice spisovné češtiný (Základní koncepce a problémy)», Praha, 1974, стр. 80].

[3] А. Н. Тихонов, указ. соч., стр. 47.

[4] А. А. Дементьев. О так называемых «интерфиксах» в русском языке, ВЯ, 1974, 4, стр. 119.

элементов *-ов-* и *-ин-* «словообразовательная соотносительность с суффиксами притяжательных прилагательных» [5] (по крайней мере семантическая) в современном языке отсутствует, соотнесенность же этих элементов с основами существительных (соответственно) склонения на согласный и склонения на *-а* строго не выдерживается: ср., например, *Массандра — массандровский*, «*Аврора*» (крейсер) — *авроровский*, «*Искра*» (газета) — *искровский*, «*Светлана*» (производственное объединение в Ленинграде) — *светлановский*, *Глинка — глинковский* (наряду с *глинкинский*) и т. п., так что следует говорить о зависимости распределения данных элементов не только от грамматического характера основ, но и от семантики последних (элемент *-ов-* сочетается, кроме основ топонимов и антропонимов, еще и с основами названий учреждений, предприятий, обществ, газет и т. п.).

Главный (и по существу единственный) аргумент, выдвигаемый Е. А. Земской в пользу выделения незначимых «прокладок»—«интерфиксов» типа *-ов-*, *-ин-* и противопоставляемый концепции так называемых «производных суффиксов» (т. е. выделению суффиксов или суффиксальных морфов *-овск-*, *-инск-* и т. п.), таков: поскольку словообразовательное значение прилагательных с отрезками *-ск-*, *-овск-*, *-инск-* и т. п. одинаково и, следовательно, «часть *ск*... сама по себе, без добавления каких-либо элементов выражает деривационное значение „относящийся к тому, что названо производящей основой“» (стр. 118), постольку лишь отрезок *-ск-* и является носителем этого значения, т. е. суффиксом (см. также стр. 116). Это подкрепляется следующим пониманием морфемы: «Морфема — значимая часть слова, необходимая и достаточная для выражения данного значения», вследствие чего «части слова, не служащие для выражения значения, морфемами не являются» (стр. 3).

Итак, выдвинут критерий «необходимости и достаточности» морфемы для выражения определенного значения, и критерий этот кладется в основу морфемной сегментации слов. Если некоторый отрезок (сегмент) в словоформе не несет какого-либо особого значения, то он как лишний, избыточный исключается из состава морфов данной словоформы.

Вопрос о незначимых внеморфемных сегментах упирается, таким образом, в следующий общий вопрос: имеют ли право на существование семантически тождественные морфы [6], из которых один составляет часть другого, будучи короче его на какой-либо сегмент (и, следовательно, различающиеся не суперсегментными средствами, например чередованием, а сегментными)? Придерживаясь критерия «необходимости и достаточности», мы должны ответить на этот вопрос отрицательно. Но насколько оправдан этот критерий? Существуют ли методологические или иные общие соображения, исследовательские принципы, на основании которых следует отвергать возможность сегментных различий между семантически тождественными морфами? Таких соображений, по-видимому, нет, а значит, нет и необходимости отделять «избыточные» сегменты от соседних морфов, считая эти сегменты внеморфемными отрезками [7].

Стóит обратить внимание на тот факт, что линейные единицы других уровней — звуки («фоны»), словоформы, высказывания — вычленяются нами в потоке речи (по крайней мере в «нормальных», экспрессивно не деформированных, логизированных текстах) без остатка; отсюда естественно сделать вывод, что и морфемные сегменты (морфы) должны вычле-

[5] Там же.

[6] Как правило, такие морфы репрезентируют одну и ту же морфему.

[7] Ср. также замечание Г. А. Климова о том, что «введенное Ч. Хоккетом понятие так называемых пустых морф... искусственно, поскольку всегда имеется практическая возможность их включения в состав соседних морфемных сегментов» (Г. А. Климов, Фонема и морфема, М., 1967, стр. 32).

няться в потоке речи также без остатка. Уместно вспомнить в этой связи подход А. М. Пешковского к проблеме отдельности слова: если *-те* в *пойдемте* не слово, а часть слова, то и *пойдем-* — не слово [8]. Ср. также: «если в каком-либо языковом образовании АВ единица А (или В) есть часть слова, то и единица В (или А) также есть часть слова» [9].

Принципиальная возможность сегментных различий между семантически тождественными морфами не противоречит пониманию морфемы как минимальной значимой части слова (в каждой конкретной словоформе любой из выделяемых морфов является действительно минимальным значимым сегментом), но ставит под сомнение целесообразность понимания морфемы как «части слова, необходимой и достаточной для выражения данного значения».

II. Последовательное применение ко всему языковому материалу критерия «необходимости и достаточности» ставит исследователя не только перед теоретическими, но и перед чисто практическими трудностями, связанными с тем, что границы явления интерфиксации не очень ясны.

1. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что сторонники теории интерфиксации строят ее на ограниченном материале. Так, в работах Е. А. Земской эта концепция основана исключительно на выделении интерфиксов в составе производных слов; интерфиксы выступают здесь как особые строевые элементы производного слова. Однако нет никаких препятствий для того, чтобы видеть интерфиксацию (так же, как и чередование и другие морфонологические явления) и в формах словоизменения [10]. Такое применение этого понятия мы встречаем в работах М. В. Панова — также сторонника теории интерфиксации. М. В. Панов относит к интерфиксам такие элементы структуры слова, как тематические гласные глагольных основ: *из-мен-(и)-ть*, *вз-лет-(е)-ть* [11], согласные типа *-j-* в основах настоящего времени глаголов (например, *игр-а-j-ут*) [12], *-в-* в действительных причастиях прошедшего времени (ср. *увяд-ш-ий* и *укра-в-ш-ий*), гласный *-о-* в страдательных причастиях прошедшего времени (ср. *реш-ё-нн-ый* и *написа-нн-ый*) [13].

Тот же критерий «необходимости и достаточности» можно было бы применять и к структуре основ всех тех слов, в составе которых некоторые отрезки вычленяются не на семантических основаниях, а только по соотносительности с мотивированными ими словами. С точки зрения этого критерия следует считать интерфиксами отсекаемые (отсутствующие в составе мотивированных слов) отрезки основ мотивирующих слов, не являющиеся словообразовательными суффиксами. Такого рода «интерфиксы» выделяются уже не перед словообразовательным суффиксом, а перед флексией или даже в конце неизменяемых слов. Например, отрезки *-к-* в словах *скрипка* (ср. *скрипач*), *утка* (ср. *утенок*, *утиный*), *-н-* в *банальный* (ср. *банальщина*), *-о* в *соло* (ср. *сольный*, *солист*, *солировать*) следовало бы считать интерфиксами [14], а корнями (отрезками, достаточными для

[8] См.: А. М. Пешковский, Понятие отдельного слова, в его кн.: «Сборник статей», Л.— М., 1925, стр. 126.

[9] А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (проблема «отдельности слова») в кн.: «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 192—193.

[10] Хотя Е. А. Земская и подчеркивает, что «интерфикс — принадлежность слова, а не словоформы» (стр. 131).

[11] См.: «Русский язык и советское общество. Проспект», Алма-Ата, 1962, стр. 36. Позднее, в работе «Русский язык» (см. в кн.: «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 85), М. В. Панов пересмотрел свою точку зрения на подобные гласные глагольных основ, признав их «суффиксами (дериваторами) с общим значением процессуальности».

[12] См.: «Языки народов СССР», I, стр. 86.

[13] Там же, стр. 84.

[14] О статусе таких отрезков см.: В.В. Лопатин, И. С. Улуханов, Несколько спорных вопросов русской словообразовательной морфонологии, ВЯ, 1974, 3.

выражения данных корневых значений) — соответственно *скрип-*, *ут-*, *банал'-*, *сол-*.

Аналогичное положение находим при отсечении части словообразовательного суффикса, содержащегося в мотивирующем слове: ср., например, *мальчишка — мальчишеский*, *переводчик — переводческий*, *правление — правленский*, *снабжение — снабженец*. В таких случаях оказывается, что для выражения определенного значения [15] достаточны морфы *-иш-*, *-ч-*, *-ен'-* и, следовательно, отрезки *-к-*, *-ик-*, *-иj-* суффиксальных морфов *-ишк-*, *-чик-*, *-ениj-* — внеморфемные «прокладки», интерфиксы. Ср. также мысль Г. О. Винокура о наличии в образованиях типа *просвещение — просвещенец*, *поражение — пораженец* «конечной вариации» суффикса *-ениj-* — *-ен-* [16].

2. Применение критерия «необходимости и достаточности» к более широкому, чем это обычно делается, материалу обязывает к вычленению «асемантических» отрезков, подобных интерфиксам, не только между морфами, но и в абсолютном начале и конце словоформ, т. е. там, где к этим отрезкам уже невозможно применить термин «интерфикс», где их трудно назвать «связочными». Так, конечную гласную *а* в словоформе *мылся*, *и* в *ползти*, конечное *э* в *милее* и т. п. следует тогда отделять от конечной морфемы и считать асемантическим элементом (ср. *мылась*, *лезть*, *милей* и т. п., где те же конечные морфемы «обходятся» без конечной гласной); вряд ли можно интерпретировать подобные морфемные видоизменения как чередование гласного с нулем. То же относится к конечным гласным неизменяемых слов типа *соло*.

Еще пример. В отглагольных именах нередко встречаются префиксоподобные отрезки, отсутствующие в мотивирующих глаголах, причем этим отрезкам трудно приписать какое-либо значение. Ср., например: *бежать — побег*, *искать — поиск* и *поиски*, *течь — поток*, *возить — повозка*, *водить — поводырь*, *плавать — поплавок*, *двигать(ся) — подвижный*, *хотеть — охота* («желание»), *пáхнуть — запах*, *силиться — усилие*, *жечь — изжога*. Если в языке и имеются соответствующие префиксальные однокоренные глаголы, то они не соотносительны с подобными отглагольными именами по значению префикса (ср., например, *повозка* и *повозить* со значением ограниченного во времени действия). Начальные отрезки таких отглагольных образований могут рассматриваться, подобно «интерфиксам», как асемантические элементы слова, поскольку для выражения тех же словообразовательных значений достаточен только соответствующий суффикс — материально выраженный или нулевой (ср. «обычные» nomina actionis, agentis и т. д.).

3. Интерфиксацию не удается строго отграничить от чередования, прежде всего от чередования гласного с нулем в начале или на конце морфемы; ср., например, морфы *-ск-* и *-еск-* (*соседский* и *товарищеский*), *-ств(о)* и *-еств(о)* (*богатство* и *роскошество*), *раз-* и *разо-*, *от-* и *ото-* и т. п. (*от-*

---

[15] Не можем согласиться с той точкой зрения, что словообразовательные морфемы, не входящие в структуре мотивированного слова в состав форманта (т. е. характерные уже для мотивирующего слова), лишены в данном мотивированном слове своего значения (см.: Н. А. Янко-Триницкая, Словообразовательная структура и морфемный состав слова, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I). Словообразовательная структура слова не сводится к соотношению форманта и мотивирующей основы, а отражает всю его, в ряде случаев многоступенчатую, «деривационную историю». Весьма часто это находит непосредственное отражение и в лексической семантике слова: очевидно, например, что в семантическую структуру слова *мальчишеский* (а через него и слова *мальчишество*) входит элемент, вносимый суффиксом *-ишк-* в слово *мальчишка*.

[16] См.: Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 431.

бросить и *отобрать*), *де-* и *дез-* (*демилитаризация* и *дезорганизация*), суффиксы *-ок* и *-ец* с беглым гласным и т. д. Естественно, что с точки зрения критерия «необходимости и достаточности» любой гласный, появляющийся в одном морфе и отсутствующий в другом, оказывается лишним для выражения определенного значения. Ср. еще чередования типа *п* — *пл'*, *м* — *мл'*, где *л'* — тоже «лишний» сегмент одного из морфов.

Е. А. Земская делает попытку провести границу между чередованиями и интерфиксацией по линии «регулярность — нерегулярность»: «интерфиксация — типизированное, но не всегда регулярное явление» (стр. 120). Но то же самое можно сказать и о чередованиях: они в ряде случаев, как показано и в книге Е. А. Земской, «расшатаны», регулярность их в определенной морфологической позиции не абсолютна. Так, в сфере образований с суффиксом *-ск-* чередования заднеязычных с шипящими обнаруживаются далеко не всегда (см. стр. 132); нерегулярный характер носят чередования «йотационного» ряда перед суффиксами *-ак*, *-анин* (ср. *киевлянин* — *варшавянин* и т. п., стр. 89). Можно добавить, что и морфонологическое правило, обусловливающее беглость гласного в суффиксе *-ок* там, где перед ним нет стечения согласных (см. стр. 130), на самом деле проявляется не столь строго: небеглое *о* есть не только в словах *челнок*, *игрок* и т. п., но и в *ходок*, *седок*, *едок* и др. Подобные примеры можно продолжать. Гласный *е* перед суффиксами *-ск-* и *-ств(о)* Е. А. Земская склонна отнести, ввиду наметившейся нерегулярности его появления, к интерфиксам (см. стр. 133); но чем это явление принципиально отличается от «расшатывающихся» чередований (ср. уже упомянутое чередование заднеязычных с шипящими)? Сама Е. А. Земская признает, что некоторые из «беглых гласных в суффиксах и приставках» «по условиям употребления близки интерфиксам» (стр. 130).

4. При анализе явлений стыка корня с суффиксом, наиболее часто рассматриваемых как интерфиксация, в ряде случаев возникают серьезные препятствия к применению понятия интерфикса. Так, в глаголах с суффиксом имперфективации или многократности *-ива-/-ва-/ -а-* (ср., например, *перегораж-ива-ть*, *разду-ва-ть*, *очищ-а-ть* и т. п.) с точки зрения критерия «необходимости и достаточности» следует считать морфемой, несущей значение несовершенного вида или многократности, общий для всех этих глаголов отрезок *-а-*; тогда *-в-* в *раздувать* — интерфикс, как и *-ив-* в *перегораживать* (впрочем здесь возможно выделение двух интерфиксов: *-и-*, *-в-*). Однако даже сторонники теории интерфиксации (см., например, стр. 18 книги Е. А. Земской) не выделяют в таких глаголах интерфикса и видят в них суффикс *-ива-* со значением несовершенного вида. Аналогичным образом в отглагольных существительных среднего рода с суффиксальными морфами *-ниј-*, *-ениј-*, *-тиј-* (*наказа-ниј-е*, *кур-ениј-е*, *сжа-тиј-е*) следовало бы выделять интерфиксы *-н'-*, *-ен'-*, *-т'-*, поскольку имеется группа существительных того же словообразовательного значения с суффиксом *-иј-*, который как будто «необходим и достаточен» для выражения данного значения: ср. *доверие*, *насилие*, *странствие*, *отсутствие* и др. А в отглагольных существительных с суффиксом *-ациј-*, *-циј-* типа *деградациј-а* или *абстрак-циј-а* можно выделять интерфиксы *-ац-* и *-ц-* при суффиксе *-иј-* (ср. *ревизия*, *репрессия*, *коррекция* и т. п. с морфом *-иј-*) [17].

Что же препятствует применению понятия интерфикса к подобным фактам? Очевидно, прежде всего то обстоятельство, что наиболее длинные из сопоставляемых в этих случаях суффиксальных морфов (*-ива-*; *-ниј-* и

[17] Е. А. Земская не выделяет также интерфиксов *-из-*, *-ир-* в отыменных глаголах на *-ировать*, *-изировать*, *-изовать* (ср. тождественные им по словообразовательному значению глаголы с суффиксом *-ова-*).

-ениj-; *-ациj-*) являются (по сравнению с другими, короткими суффиксальными морфами, выражающими те же значения) наиболее употребительными и продуктивными. При этом несущественно, являются ли сопоставляемые более короткие суффиксальные морфы системно непродуктивными [как морфы *-иj(а)*, *-иj(е)*] или только ограниченными в употреблении из-за ограниченности списка корней необходимой для них морфонологической структуры, например односложных корней на гласную [для морфов *-ва-*, *-тиj(е)*]. Важно, что соответствующие словообразовательные значения ассоциируются в сознании носителей языка в первую очередь с более длинными морфами из ряда синонимичных [18]. Таким образом, применению критерия «необходимости и достаточности» препятствуют в таких случаях особенности функционирования сопоставляемых морфемных сегментов.

О том, как далеко может завести применение указанного критерия, говорит и возможность следующего, явно некорректного, вывода: можно утверждать, что такие суффиксы, как *-ость* в словах типа *смелость*, *серость*, *бездарность* или *-ец* в словах типа *жизнелюбец*, *канатоходец* являются незначимыми отрезками, поскольку те же словообразовательные значения могут выражаться в системе языка и бессуффиксально (нулевыми суффиксами) при участии той же системы флексий мотивированного слова (ср. хотя бы *синь*, *тишь*, *бездарь* или *жизнелюб*, *скороход*).

5. Применение критерия «необходимости и достаточности» для разграничения морфемных и «внеморфемных» сегментов затруднено в тех случаях, когда в словах сочетаются сегменты, порознь способные выражать данное словообразовательное значение (или участвовать в его выражении), так что определить, какой именно из таких сегментов «избыточен», оказывается невозможным. Вот несколько примеров.

а) В отглагольных существительных со значением действия типа *делёжка*, *долбёжка*, *кормёжка* можно выделить по соотносительности со словами типа *подкормка*, *варка* суффикс *-к(а)* и интерфикс *-ож-*; однако сопоставление со словами типа *делёж*, *платёж*, *грабёж* заставляет отказаться от этого решения: оказывается, что суффикс *-ож*, как и суффикс *-к(а)*, может самостоятельно выражать значение отвлеченного действия. Приходится признать, что весь комплекс *-ожк(а)* наделен данным значением, хотя каждый из составляющих его сегментов достаточен для выражения этого значения.

б) В прилагательных типа *банковский*, *стариковский*, *борцовский* можно выделить (как это часто и делается) суффикс *-ск-* и интерфикс *-ов-* (ср. *соседский*, *университетский* и т. п.). Но рядом с *банковский* есть в языке прилагательное *банковый*, рядом со *стариковский*, *борцовский* — *подростковый*, *малышовый*, *истцовый* и т. д. Иначе говоря, то же относительное значение может выражаться в отсубстантивных прилагательных суффиксом *-ов-*. Этот факт заставляет усомниться в том, что отрезок *-ов-* комплекса *-овск-* не участвует в выражении данного значения.

в) В словах типа *спокойствие*, *сумасшествие*, мотивированных прилагательными и выделяющих суффикс *-ствиj(е)*, равным образом возможно вычленение интерфиксов *-ств-* и *-иj-*, ибо и сегмент *-иj-*, и сегмент *-ств-* способны выступать в качестве самостоятельных суффиксальных морфов в отадъективных существительных со значением признака; ср., например: *величие*, *радушие* и *богатство*, *злорадство*.

г) В деепричастиях совершенного вида выделяются суффиксальные морфы *-ши* и *-вши*: ср. *испек-ши* и *взя-вши*, *укра-вши*; в последнем сегмент *-в-* можно рассматривать как интерфикс, использующийся в морфонологи-

[18] К подобным случаям относятся, по-видимому, еще и суффиксальные морфы причастий *-вш-* и *-ш-*, из которых явно преобладает в употреблении морф *-вш-*. М. В. Панов, однако, считает *-в-* в таких причастиях интерфиксом.

ческой позиции после гласного [19]. Однако существуют и даже более употребительны формы типа *взяв*, *украв*, в которых именно сегмент *-в* служит для выражения деепричастного значения. Получается, что в комплексе *-вши* сегмент *-ши* не менее избыточен, чем *-в-*.

д) Среди префиксально-суффиксальных глаголов встречаются такие, как, например: *сболтнуть*, *сплюснуть*, *провернуть* (дырку), *заснуть*. Соответствующие словообразовательные значения, выражаемые в данных глаголах префиксом и суффиксом *-ну-* (ср. мотивирующие глаголы *болтать*, *плющить*, *вертеть*, *спать*), могут выражаться и с помощью одного только префикса: ср. *сболтнуть* и *схитрить*, *сгрубить*; *сплюснуть* и *сплющить*, *провернуть* и *провертеть*, *заснуть* и *запеть* [20]. Однако из этого не следует, что *-ну-* в этих глаголах — не суффикс, а незначимая «прокладка». Он участвует в выражении совершенного вида, а в некоторых глаголах (*сболтнуть*) подчеркивает значение однократности, хотя значения эти могут выражаться и одними только префиксами.

е) Сопоставляя наречия типа *по-дружески*, *по-братски* с наречиями типа *дружески*, *братски*, нельзя не обратить внимания на синонимию подобных наречий, на тождество словообразовательного значения, выражаемого и одним суффиксом *-и*, и тем же суффиксом в сочетании с префиксом *по-*. Отсюда можно сделать вывод, что начальный сегмент *по-* в наречиях типа *по-дружески* незначим: соответствующее значение выражается уже суффиксом *-и*. Однако в языке имеются и наречия типа *по-походному*, *по-городскому*, где то же словообразовательное значение выражается комплексом *по...ому*, в котором уже ни один из составляющих сегментов не способен употребляться самостоятельно, так что надо признать, что сегмент *по-* участвует в выражении данного значения. При сопоставлении с такими наречиями можно даже предполагать, что в образованиях типа *по-дружески* данное значение («сравнительное») в какой-то степени усилено, акцентировано по сравнению с образованиями типа *дружески*.

Приведенные примеры наглядно демонстрируют тот факт, что язык принципиально допускает выражение определенной семантики избыточными с формальной точки зрения средствами; несомненно, что избыточность эта — одно из проявлений асимметрии языкового знака (данное явление противоположно известным случаям семантического синкретизма морфем, в частности падежных флексий). Особая же показательность приведенных примеров состоит в том, что, несмотря на избыточность средств выражения, на достаточность для передачи определенного значения только части того комплекса сегментных средств, которые действительно участвуют в подобных случаях в выражении этого значения,— мы не можем признать какую-либо часть данного комплекса незначимой [21].

Таким образом, из того, что некоторый сегмент с формальной точки зрения избыточен, еще не следует, что он «не служит для выражения значения» (ср. понимание морфемы, предлагаемое Е. А. Земской), не участвует в выражении словообразовательной или грамматической семантики, присущей данному образованию.

[19] Именно так рассматривает его М. В. Панов (см.: «Языки народов СССР», I, стр. 85).

[20] В данном случае несущественно, приводим ли мы в качестве примеров синонимичные однокоренные слова или тождественные по словообразовательной семантике образования от разных глаголов.

[21] Примером подобной избыточности средств выражения является и так называемая «вторичная суффиксация» существительных: ср. такие профессиональные обозначения лиц, как *герметизаторщик*, *дозаторщик* (при наличии синонимичных *герметизатор*, *дозатор*), а также разговорные и просторечные *спортсменщик*, *миллионерщик* и т. п. См.: В. С. Гимпелевич, указ. соч., стр. 128; Е. А. Земская, указ. соч., стр. 263—264. В. С. Гимпелевич считает в словах типа *герметизаторщик* «асемантемой» отрезок *-щик*, но равным образом можно считать и *-атор*.

III. В силу указанных соображений представляется наиболее целесообразным рассматривать сегменты словоформ, интерпретируемые в ряде работ как незначимые межморфемные «прокладки» — интерфиксы, в качестве частей морфов. Формальные видоизменения морфемы могут быть и суперсегментными (чередования), и сегментными; последние могут рассматриваться как усечение/наращение одного морфа в сравнении с другим.

При таком подходе к так называемым интерфиксам возникает проблема локализации морфемного шва, отнесения выделенного отрезка к левому или к правому от него морфу. Известно мнение Г. О. Винокура, что споры о том, членится ли слово *буржуазный* на *буржуа-зный* или *буржуаз-ный*, беспредметны, что для понимания данного соотношения важна констатация формулы *~ а/ ~ азн*, а «остальное — дело удобства номенклатуры» [22]. Г. А. Климов также считает, что «морфологический анализ, по-видимому, не нуждается в однозначном соотнесении фонем и их последовательностей с морфемными сегментами на синтагматической оси» [23]. Вместе с тем для практики анализа структуры слова небезразличны границы морфов, и хотя в сложных ситуациях в принципе возможны двойственные интерпретации, адекватно отражающие морфонологическую структуру слова, все же в большинстве случаев вопрос об отнесении «спорного» отрезка к «левым наращениям» суффикса или к «правым наращениям» корня может быть решен однозначно.

Решая этот вопрос, следует исходить из специфики корня как морфемы прежде всего индивидуальной, различающей слова́, и аффикса как морфемы прежде всего обобщающей, вследствие чего аффиксация объединяет лишь регулярные, типизированные явления [24]. Поэтому при нерегулярных формальных соотношениях сопоставляемых основ (ср., например, *герань — гераниевый*, *иней — индеветь*, *алгебра — алгебраический*, *буржуа — буржуазный* и *буржуазия*) целесообразно относить «спорный» отрезок к корню. Аналогичная трактовка оправдана в случаях типа *схема — схематический*, *схематизм*; *драма — драматический*, *драматург*; *астма — астматический*, *астматик*; *экзема — экзематозный*. Здесь признание наращения корня за счет отрезка *-ат-*(*-ат'-*) представляется оптимальным решением, если учесть одинаковое поведение данных корней в структуре мотивированных слов независимо от соседнего суффикса, тем более, что в ряде случаев присоединяющиеся к таким корням суффиксальные морфы (*-ическ-*, *-озн-*) уже представляют собой продукт «левого наращения» более простого суффиксального морфа.

С «правым наращением» корня мы имеем дело и в случаях вариативности консонантизирующего субморфа глагольных (преимущественно односложных) корней на гласную; ср., например: *старожил*, *глиномял*, *стеклодув*, *водолив*, *прутомят*, *шерстобит* (с корневыми морфами на *-л*, *-в*, *-т*) в типе отглагольных существительных с нулевым суффиксом; *сладкопевец*, *рудознатец*, *новобранец* с корневыми морфами на *-в*, *-т*, *-н* перед суффиксом *-ец* (для слов *певец*, *сладкопевец* и т. п. такое решение оправдано и с учетом одинакового морфонологического поведения данного конкретного корня в сочетании с различными суффиксами: ср. *певун*, *певучий*, *певчий*), а также, по-видимому, в тех случаях, когда наращение глагольного

---

[22] Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 432.

[23] Г. А. Климов, указ. соч., стр. 77. См. также: А. А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности, М., 1965, стр. 153.

[24] См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 34.

корня можно интерпретировать как использование инфинитивной флексии (*знать* — *знаток* и т. п.) [25].

Напротив, отнесение «спорного» отрезка направо, к суффиксу, несомненно в следующих двух случаях:

1. «Спорный» отрезок, сочетаясь с последующим суффиксальным морфом, изменяет общее словообразовательное значение (устанавливаемое в рамках целого типа) мотивированных слов по сравнению с общим значением слов с тем же суффиксальным морфом, не имеющих этого отрезка. В таких случаях данный отрезок в сочетании с последующим суффиксальным морфом формирует особый словообразовательный суффикс. Таков, например, суффикс *-ианск-/-янск-*, имеющий в сочетании с основами собственных имен — названий лиц (*кантианский*, *гегельянский* и т. п.) значение отнесенности не к лицу, а к связанному с ним общественному или научному направлению; в то же время в прилагательных с суффиксальными морфами *-ск-*, *-овск-* различие между значениями отношения к лицу и к направлению нейтрализовано (ср., например, *ленинский*, *толстовский*). Суффикс *-лец* выделяется в существительных с общим значением «лицо — производитель действия», в то время как отглагольные существительные с суффиксом *-ец* могут иметь не только личное и не только агентивное значение (ср. *кормилец*, *страдалец* и *борец*, *резец*, *рубец*); суффикс *-льщик* отглагольных существительных, в отличие от суффикса *-щик/-чик*, характерен только для названий лица (ср. *обжигальщик*, *носильщик* и *проверщик*, *счетчик*, *погрузчик*). Точно так же существительные с суффиксом *-лк(а)* имеют особое (агентивное) словообразовательное значение, более узкое, чем общее значение предметных отглагольных существительных с суффиксом *-к(а)*, обозначающих различные отношения к действию, и иное, чем у nomina actionis с суффиксом *-к(а)*; ср., например, с одной стороны — *сеялка*, *сушилка*, а с другой — *задвижка*, *настойка*, *похлебка* и *варка*, *регулировка*. С точки зрения теории интерфиксации «спорные» отрезки в словах этой группы, в силу их семантической значимости, не могут рассматриваться как интерфиксы. Поэтому нам представляется ошибочным выделение в книге Е. А. Земской интерфикса *-иан-* в прилагательных типа *кантианский* (стр. 135) и интерфикса *-л-* в словах типа *кормилец* (стр. 123).

2. «Спорный» отрезок не изменяет словообразовательного значения суффикса, однако регулярно используется в сочетании с корнями (и шире — основами) определенных морфонологических и семантических свойств. В этом случае данный отрезок, сочетаясь с суффиксальным морфом, формирует особый морф, объединяемый в соответствии с правилами отождествления морфем в один суффикс с более коротким, лишенным этого отрезка морфом. Таковы, например, суффиксальные морфы *-ск-* и *-еск-*, *-овск-*, *-анск-*, *-ическ-* и др. (ср. *июльский*, *купеческий*, *вузовский*, *африканский*, *сценический* и т. п.) [26]; суффиксальные морфы *-ниj-* и *-ениj-* в отглагольных существительных типа *наказание* и *спасение*; *-ищ(е)* и *-лищ(е)* в существительных типа *зимовище* и *обиталище* и мн. др. Хотя «спорный» отрезок *в* в некоторых отглагольных образованиях (см. выше) и может быть отнесен к корню, все же в образованиях типа *смывать*, *разогревать*, *продувать*, *воспевать* он относится уже к суффиксальному морфу, ибо сегмент *-ва-* является регулярным, максимально унифицированным средством выражения значения непереходности в сочетании с односложным глагольным корнем на гласную.

---

[25] См.: Н. А. Янко-Триницкая, Флексии базового слова в морфологически выводимой основе, сб. «Вопросы филологии (к 70-летию проф. И. А. Василенко)», М., 1969.

[26] Описание условий употребления разных морфов этого суффикса см. в «Грамматике» 1970, стр. 190 и сл.

IV. Существует мнение, согласно которому некоторые «спорные» сегменты нельзя объединять с соседним морфом на том основании, что они несут особую морфонологическую функцию. Так, А. В. Исаченко отделяет элемент *-л-* в отглагольных существительных и прилагательных с суффиксами *-лк(а)*, *-льн(ый)* и т. п. от соответствующих суффиксов и рассматривает его как морфологически самостоятельный элемент — распространитель глагольной основы, формирующий именную основу [27]. Такая постановка вопроса базируется на противопоставлении морфонологических и семантических функций сегментов слова. При этом не учитывается тот факт, что в структуре слова широко распространен синкретизм морфемных функций, когда один и тот же отрезок (морф или часть его) несет одновременно и семантическую функцию, будучи выразителем определенного значения или являясь частью комплекса, выражающего это значение, и чисто формальную, морфонологическую функцию.

В этой связи можно отметить, например, словообразовательные суффиксы типа *-и-* / Ø или *-е-/-ej-* в отыменных глаголах (*белить*, *белеть* и т. п.), являющиеся в то же время приметами определенного словоизменительного класса, а также морфонологически обусловленными (вокализирующими в одной форме, консонантизирующими в другой) элементами глагольной основы. Такие суффиксы, как, например, *-н-* и *-т-* в страдательных причастиях, *-л-* в прилагательных типа *спелый*, несут не только определенное значение (грамматическое или словообразовательное), но и одновременно определенную формальную функцию, оформляя основы на согласную: предшествующая основа глагола имеет в этих случаях исход на гласную, к которому по чисто морфонологическим причинам не могут присоединяться падежные флексии адъективного склонения.

С этой точки зрения и такие элементы, как *-л-* (*-л'-*) в суффиксах *-лк(а)*, *-льн(ый)*, *-лец*, *-н'-/-т'-* в суффиксе существительных *-ниj-/-тиj-*, *-в-* в глагольном суффиксе *-ва-* и т. п., являясь частью суффиксального морфа, в то же время служат и для морфонологического приспособления его к предшествующей глагольной основе на гласную (соответствующие морфы *-к(а)*, *-н(ый)*, *-ец*, *-иj-*, *-а-* к основе на гласную присоединяться не могут). Аналогичным образом гласные *-е-*, *-о-* в составе суффиксальных морфов *-ениj-*, *-ённ-* служат для морфонологического приспособления к основе на согласную.

Участвуя в выражении определенного значения, соотносимого с морфом в целом, отдельные части морфов приобретают, таким образом, самостоятельную формальную (морфонологическую) значимость. Для обозначения таких морфонологически релевантных отрезков в работах последнего времени все чаще используется термин субморф [28]. К субморфам относятся, с нашей точки зрения, и такие элементы, как *л*, *в*, *н*, *т* — части суффиксов отглагольных образований, и «вставные» основообразовательные элементы глагола вроде *-j-* (*знать* — *знаю*, *белеть* — *белею*), *-в-* (*жить* — *живу*), и все те отрезки, не имеющие самостоятельной семантической функции, которые в работах сторонников теории интерфиксации охватываются

---

[27] См.: A. V. Isačenko, Morpheme classes, deep structure and the Russian indeclinables, «International journal of slavic linguistics and poetics», XII, 1969, стр. 56—57; его же, Russian derivations in *-l-* and *-tel-*, там же, XVI, 1973, стр. 61—77. Эта точка зрения не может нас удовлетворить как не учитывающая смысловой стороны соответствующих образований.

[28] См., например: В. Г. Чурганова, О предмете и понятиях фономорфологии, ИАН ОЛЯ, 1967, 4, стр. 366—367; Е. А. Земская, указ. соч., стр. 81—82; В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, указ. соч., стр. 59.

понятием интерфиксов, и отсекаемые финали основ мотивирующих слов, не являющиеся словообразовательными суффиксами [29].

V. Появлению в языке так называемых интерфиксов и иных разнообразных «распространителей» морфем способствуют, как нам представляется, не только морфонологические причины. В этом явлении получила отражение свойственная языку тенденция к большей формальной выразительности значимых единиц. Более длинный морф как носитель определенного значения формально выразительнее, чем более короткий, особенно одно- или двуфонемный (ср., например, *-н-*, *-ск-*, *-ij-*, *-j-*). Одно из наиболее распространенных проявлений этой тенденции — возникновение так называемых «вторичных (или производных) суффиксов», факт, отмеченный впервые в работах Н. В. Крушевского под названием «передней вариации суффиксов» [30].

Указанной тенденцией объясняется, по-видимому, то обстоятельство, что в суффиксальных глаголах несовершенного вида в позиции после согласной возобладал не морф *-а-*, а более формально выразительный морф *-ива-*. Не случайно и то, что в современном русском языке среди корней, наиболее «охотно» сочетающихся с более длинными суффиксальными морфами (т. е. принимающих так называемые интерфиксы), заметное место занимают односложные корни, и характерно это не только для отглагольного словообразования (где различного рода «вставочные» элементы обусловлены в значительной степени гласным исходом корня), но и для отыменного. Так, морф *-овк(а)* вместо *-к(а)* выступает исключительно, а морф *-овск-* вместо *-ск-* в большинстве случаев (в прилагательных от основ нарицательных существительных) после односложных корней [31]: ср., например, *соседка*, *цыганка*, *перепелка* и *воровка*, *мотовка*, *плутовка*, *чертовка*, *клестовка*; *соседский*, *февральский* и *шутовской*, *дедовский*, *поповский*, *бунтовской*, *бесовский* и т. п. [32]. Кстати, по той же причине существительные с суффиксом *-ник*, мотивированные существительными с односложными основами, нередко образуются не непосредственно от основы существительного, а от основы соответствующего относительного прилагательного с суффиксом *-ов-*: ср., например, *фокусник*, *десантник*, *орешник* и *садовник*, *полковник*, *гербовник*, *маковник*. Не случайно и такой невыразительный суффикс, как *-ij-/-j-*, продуктивен в современном языке почти исключительно в префиксально-суффиксальных либо суффиксально-сложных образованиях (*Заволжье*, *соцветие*, *виноделие*, *Черноморье* и т. п.), где он «подкреплен» другими аффиксами, входящими в состав форманта.

Другая распространенная причина «левого расширения» некоторых суффиксов, начинающихся на согласную, за счет субморфов, начинающихся на гласную *о* или *а* (ср. еще *кустарник*, *пихтарник* и т. п.),— это тенденция к устранению стечений согласных и чередований заднеязычных с шипящими. Важную роль в распространении «вторичных» суффиксальных

---

[29] Е. С. Кубрякова называет подобные «субморфемные единицы», участвующие в формировании определенных основ и потому наделенные «опознавательной функцией», «маркерами» (см.: Е. С. Кубрякова, Основы морфологического анализа, М., 1974, стр. 165).

[30] См.: Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 82.

[31] Е. А. Земская, отмечая эту тенденцию у прилагательных на *-овский*, интерпретирует ее как «устранение односложности предсуффиксальных отрезков» (см.: Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 45—46).

[32] Это, однако, не означает, что суффиксальные морфы *-к(а)*, *-ск-* и т. п. вообще неспособны сочетаться с односложными корнями. Следует также оговорить, что указанная общая тенденция не является непреложным законом: так, суффиксы прилагательных *-н-*, *-ск-*, глагольный суффикс *-а-/-aj-* развили «вторичные суффиксы», а глагольный суффикс *-и-/∅* не развил их.

морфов, в усилении их продуктивности, несомненно, играет та современная языковая тенденция к агглютинативности на морфемных швах, к уменьшению места суперсегментных средств сцепления морфем по сравнению с сегментными, которая отмечена авторами монографии «Русский язык и советское общество». Эта тенденция тоже способствует большей формальной выразительности словообразовательной структуры слова: у «производных с интерфиксом», как пишет Е. А. Земская, «соотносительность между производящей и производной основами выступает более наглядно, а это очень важно для четкости понимания производного слова» (стр. 119). Существо этого процесса не меняется, если интерпретировать его, в отличие от авторов указанной монографии, не как рост интерфиксации, а как рост употребительности «вторичных» суффиксальных морфов.

И тем не менее далеко не всегда использование «вторичных» суффиксальных морфов обусловлено в живых словообразовательных явлениях тенденцией к снятию чередований или другими формальными причинами. Ср. хотя бы окказиональное прилагательное *невпопадочный* («улыбнется над чьим-нибудь „невпопадочным" ответом...» — К. пр. 14 VI 67). Создатель этого слова использовал вместо суффиксального морфа *-н-* более длинный морф *-очн-*, хотя морф этот (ср. *ленточный*, *откормочный*, *раздаточный* и др.) в современном языке не очень продуктивен и вряд ли существуют какие-либо формальные помехи для образования прилагательного *невпопадный*.

VI. Е. А. Земская и другие сторонники теории асемантических «прокладок» (М. В. Панов, А. Н. Тихонов и др.) относят к таким прокладкам также соединительные элементы сложных слов. На наш взгляд, с этими элементами структуры слова (*-о-* в *лесостепь*, *пароход*, *-и-* в *пятиконечный*, *-ох-* в *четырехэтажный* и т. п.) дело обстоит совершенно иначе, не так, как с другими «интерфиксами». Это интерфиксы в совсем ином понимании данного термина — особая разновидность аффиксов. Не случайно сам термин «интерфикс» создан прежде всего для обозначения соединительных морфем сложных слов. Входящий своей структурой в ряд терминов, обозначающих виды аффиксов по их положению в слове, термин этот обозначает аффикс, находящийся между корнями, «служащий для связи корней в сложных словах» [33]. Точнее говоря, интерфикс связывает не корни, а простые основы в составе сложной основы (ср., например, слова *лесозаготовки*, *землепроходец*, где интерфикс непосредственно соединяет корень и префикс).

Такой интерфикс — не асемантическая «прокладка» и не часть морфемы, а особая морфема, значимая часть слова. Однако семантика этой морфемы абстрактна и сводится, как уже отмечалось, к «идее соединения» [34] составляющих сложную основу простых слов. Соединительное значение является тем специфическим словообразовательным значением, которое характерно для сложных слов и которое в чистых сложениях и сращениях представляет собой единственное словообразовательное значение, а в суффиксально-сложных образованиях сочетается с категориальной семантикой суффикса. Носителем этого значения и является специфическая морфема — интерфикс.

Интерфиксы в таком понимании представляют собой наиболее абстрактные по семантике аффиксы. В отличие от других аффиксов основы, наделенных, как правило, референционными (отражающими так или иначе

[33] А. А. Реформатский, Введение в языковедение, 4-е изд., М., 1967, стр. 266. См. также: И. А. Мельчук, О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках, ВЯ, 1963, 4, стр. 34; «Грамматика» 1970, стр. 31.

[34] См., например: Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, М., 1959, стр. 108—109; «Грамматика» 1970, стр. 42.

внеязыковую действительность) значениями, интерфиксы наделены синтаксическим значением, указывают на связь основ в структуре цельнооформленного сложного слова [35]. С этой точки зрения их можно уподобить служебным словам (союзам, предлогам), в то время как прочие словообразовательные аффиксы — словам самостоятельным. И если мы усматриваем значение, например, у союзов, считая их словами, то на аналогичных основаниях следует считать интерфиксы сложных слов морфемами. Сложное слово — это синтагма особого рода, и при этом синтагма, состоящая из лексически значимых компонентов — основ. Как всякая синтагма, оно обладает грамматическими средствами выражения связи своих компонентов. Правда, в структуре сложного слова формальные средства связи компонентов более обобщены, унифицированы по сравнению со словосочетаниями и предложениями. Если в синтаксисе словосочетания и предложения существуют разнообразные средства выражения, связанные с различными типами соединения слов (координация подлежащего со сказуемым, сочинительная связь однородных членов, подчинительная связь согласования, управления или примыкания в словосочетаниях и т. д.), то в синтаксисе сложного слова эти средства нейтрализуются.

Известно, что сложные слова, как правило, соотносительны с определенными словосочетаниями (иногда предложениями), на базе которых они построены. При этом в структуре сложного слова нейтрализованы те синтаксические различия, которые характерны для соотносительных словосочетаний и предложений. Одинаково оформляются сложения, соотносительные с сочинительными и подчинительными сочетаниями слов (ср., например, *урало-сибирский — Урал и Сибирь* и *западносибирский — Западная Сибирь*), с подчинительными словосочетаниями различной структуры и субъектно-предикативными конструкциями (ср.: *снегоходный — ходить по снегу*, *теплоходный — ходить с помощью тепла*, *пешеходный — ходить пешком*, *судоходный — ходят суда*, *самоходный — ходит сам*; *водопад — падает вода*, *водопой — пить воду* и т. д.). Каковы бы ни были синтаксические отношения в соотносительном словосочетании и предложении, в структуре сложного слова эти отношения передаются интерфиксом, связывающим опорный компонент с предшествующей основой.

Н. М. Шанский уподобляет по значению соединительные аффиксы соединительным союзам [36]. Это справедливо, например, для слов типа *лесостепь* (ср. *лес и степь*); в слове же, например, *луноход* (ср. *ходить по Луне*) соединительный аффикс можно уподобить предлогу, в слове *книголюб* (ср. *любить книгу*, *книги*) — падежной флексии и т. д. Вообще интерфикс выступает на уровне сложного слова в роли единого аналога разнообразных грамматических средств, существующих на уровне словосочетания и предложения. Таким образом, в структуре сложного слова мы имеем дело с особым обобщенным типом синтаксической связи лексических компонентов.

Рассматривая чистое сложение и сращение, Е. А. Земская возражает автору этих строк, писавшему, что словообразовательное значение таких слов сводится к объединению лексических значений составляющих основ; в этой связи на стр. 179 книги Е. А. Земской подчеркивается, что производное при указанных способах обычно «не является простой суммой значений производящих, а содержит нечто своеобразное,... иногда некоторый элемент терминологизации значения»: слово *долгоиграющий* применяется только к пластинке и т. п. Однако дело в том, что это своеобразие подобных

---

[35] См. также: З. Оливериус, Роль структурного параллелизма при идентификации морфем и определении их типов, «Československá rusistika», 1968, 2, стр. 77.
[36] См.: Н. М. Шанский, указ. соч., стр. 109.

производных слов принадлежит к лексическим «надбавкам», а отнюдь не к их общему словообразовательному значению; на словообразовательном же уровне речь идет именно об объединении значений основ.

Если связь компонентов сложного слова выражается особой синтаксической морфемой — интерфиксом, то для слов-сращений (*долгоиграющий*, *тяжелобольной*, *впередсмотрящий*, *умалишенный* и т. п.) характерен иной способ выражения этой связи: синтаксическая связь компонентов соответствующего словосочетания (связь управления, примыкания) транспонируется в таких образованиях на уровень слова.

Добавим, что интерфикс — явно преобладающее в словообразовательной системе русского языка средство выражения связи компонентов сложного слова. Это дает основание рассматривать сложные слова, не имеющие в своем составе материально выраженного интерфикса и лишенные каких-либо иных специфических формальных средств выражения связи компонентов (*Ленинград*, *пресс-форма* и т. п.) как слова с нулевым интерфиксом[37]. С этой точки зрения интерфиксы сложных слов тоже существенно отличаются от «интерфиксов-прокладок» между корнем и аффиксом, которые отнюдь не обладают такой же степенью значимости, не являются преобладающими в структуре аффиксального слова.

---

[37] См.: «Грамматика» 1970, стр. 42, 173. Ср. принципы выделения нулевого словообразовательного аффикса, изложенные в ст.: В. В. Л о п а т и н, Нулевая аффиксация в системе русского словообразования, ВЯ, 1966, 1, стр. 78—79.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

И. С. УЛУХАНОВ

ОТНОШЕНИЕ МОТИВАЦИИ МЕЖДУ ГЛАГОЛОМ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ

Вопрос о направлении мотивации в парах, состоящих из глагола и существительного со значением действия, по-разному решался в литературе [1]. В ряде работ существительные со значением действия рассматривались как мотивированные глаголами[2]. Это соответствует правилу: из двух слов, относящихся к разным частям речи, но имеющих тождественное лексическое значение, мотивированным следует считать то, которое выражает значение, категориально свойственное иной части речи. Значение действия категориально свойственно глаголу, поэтому существительное со значением действия считается мотивированным. Словообразовательный процесс V → nomen actionis рассматривается как один из видов транспозиции [3].

В ряде работ вопрос о направлении производности (мотивированности) решается дифференцированно: в одних парах усматривается отношение «глагол → имя действия», в других — противоположное отношение.

Отглагольность существительных со значением действия, имеющих в своем составе суффиксы *-ениj-*, *-к-*, *-б-* и т. п., никем под сомнение не ставится. Не вызывает разногласий и интерпретация пар типа *уходить — уход*, *вывезти — вывоз*.

Однако во многих парах V — nomen actionis мотивирующим (производящим) считается существительное со значением действия: *футболить*, *бадминтонить*, *роккенкроллить*, *грешить*, *проказить*, *безобразить*, *халтурить*, *каверзить*, *каламбурить*, *скандалить* и др. (Р. В. Бахтурина [4]), польск. *obiadować*, *pracować*, *relaksować* (М. Бродовская-Гоновская [5]), *ucztować*, *biesiadować*, *podróżować*, *napastować*, *obradować*, *spacerować*, *plotkować* (Р. Гжегорчикова [6]), *арестовать*, *ремонтировать*, *атаковать*, *тоско-*

---

[1] Ср. отмеченные А. Д. Зверевым противоположные решения этого вопроса в ряде грамматик славянских языков (А. Д. Зверев, Выражение направления производности в русском языке, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», Самарканд, 1972, стр. 76, 77).

[2] См., например: «Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen», Praha, 1967, стр. 566; «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 38 (далее — Гр. 70); А. Н. Тихонов, Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка, Самарканд, 1971, стр. 244; И. А. Мельчук считает отношения в парах типа *получить — получение* формальным вложением одной единицы в другую при тождестве их значений (И. А. Мельчук, Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними, ИАН ОЛЯ, 1968, 5, стр. 431, 432).

[3] См., например: J. Puzynina, Narwy czynności we współczesnym języku polskim (Słowotwórstwo, semantyka, składnia), Warszawa, 1969, стр. 9—17, где дан обзор новейших теорий транспозиции и их использования в работах по словообразованию.

[4] Р. В. Бахтурина, Значение и образование отыменных глаголов с суффиксом *-∅- //-и-(ть)*, сб. «Развитие словообразования современного русского языка», М., 1966, стр. 91—93.

[5] M. Brodowska-Honowska, Zarys klasyfikacji polskich derywatów, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1967, стр. 14.

[6] R. Grzegorczykowa, Czasowniki odimienne we współczesnym języku polskim, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969, стр. 17, 107.

вать, *салютовать*, *приветствовать* (А. Д. Зверев [7]), *контролировать*, польск. *boikotować*, *teroryzować*, *plotkować* (З. М. Волоцкая [8]), чеш. *kázeň* — *káznit* (М. Докулил [9]).

В исследованиях обычно не отмечается, что далеко не во всех таких парах имеет место «чистая» транспозиция, т. е. тождество лексических значений при различии синтаксических позиций слов, принадлежащих к разным частям речи. В ряде случаев имеет место и различие в составе семантических компонентов лексического значения. Так, если в парах *монтировать — монтаж* и *монтаж — монтажничать* усматривать только синтаксическую транспозицию, то невозможно объяснить разницу в значениях глаголов *монтировать* «собирать и устанавливать машины, сооружения по определенным планам и чертежам» и *монтажничать* «заниматься монтажом». Подобно глаголам типа *побираться — побирушничать* [10], глаголы *монтировать* и *монтажничать*, означая одно и то же действие, представляют («стилизуют») его различно. Употребляя глагол *монтажничать*, говорящий сообщает, что субъект действия осуществляет (постоянно или в данный момент — в зависимости от контекста) те действия, которые в языке называются словом *монтаж* (без указания на объект этого действия). Употребляя глагол *монтировать*, говорящий сообщает о совершении определенных действий, не соотнося их со словом *монтаж* и указывая на их направленность на объект.

«Чистая» транспозиция имеет место, по-видимому, только в парах *монтировать — монтаж*, где имя сохраняет значение направленности действия на объект, свойственное глаголу *монтировать*, но отсутствующее у *монтажничать* (с чем связано и изменение в синтаксической сочетаемости). Отношению *монтировать — монтаж — монтажничать* (разг.) аналогичны отношения *саботировать* что-л.— *саботаж — саботажничать* (разг.), *охотиться на кого-л.— охота — охотничать* (прост.), *судить — судейство — судействовать*, ср. *косить сено — сенокос — сенокосничать* «заниматься сенокосом», *пахать землю — землепашество — землепашествовать*.

«Чистой» транспозиции нет и в тех многочисленных случаях, когда мотивирующие имена не имеют значения «чистого» действия, а представляют собой, по словам Р. Гжегорчиковой, «названия действий, воспринятых более предметно, как целая ситуация» [11]. В этом можно убедиться, сравнив эти имена с «чистыми» nomina actionis: *бокс — боксирование*, *эксперимент — экспериментирование*, *маневр — маневрирование*, *гримаса — гримасничанье*, *интервью—интервьюирование* и др. *Бокс* — это не просто «нанесение ударов противнику руками в соответствии с определенными правилами», а «вид спорта, для которого характерно нанесение...» (ср. также *футбол*, *бадминтон* и т. п.); *эксперимент*, *маневр* отличаются от однокоренных имен действия на *-ние* по крайней мере наличием компонента одноактности; *гримаса* — это не только «искажение черт лица» (= *гримасничанье*; ср. *прекрати свои гримасы* и *прекрати свое гримасничанье*), но и само выражение, мина (ср. *на лице его застыла гримаса*, но не *гримасничанье*).

---

[7] А. Д. Зверев, указ. соч., стр. 79.

[8] З. М. Волоцкая, К описанию системы деривативных значений (опыт применения компонентного анализа), сб. «Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков», М., 1973, стр. 110, 111.

[9] M. Dokulil, Tvoření slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov, Praha, 1962, стр. 109.

[10] См.: И. С. Улуханов, О словообразовательной категории (на материале глаголов, мотивированных именами), ИАН ОЛЯ, 1975, 1.

[11] R. Grzegorczykowa, указ. соч., стр. 107.

Имена на *-ство*, мотивированные именами, означают, как правило, не только «бытие кем», но и «то, что свойственно кому» [12] (ср. *губернаторство*, *директорство*, *геройство* и т. п.).

Все те компоненты, которые «наслаиваются» в мотивирующем имени на значение действия, отсутствуют в глаголе. Поэтому «чистую» транспозицию следует усматривать в парах типа *боксировать — боксирование*, *гримасничать — гримасничанье*, но не *бокс — боксировать*, *гримаса — гримасничать* и т. п.

Очевидно, к числу имен действия, мотивированных глаголом, целесообразно относить лишь те существительные, лексическое значение (или одно из лексических значений) которых не осложнено дополнительными семантическими компонентами по сравнению с лексическим значением глагола. Поэтому в парах типа *бокс — боксировать*, *гримаса — гримасничать* мотивирующим считаем имя, а не глагол. Однако и в тех случаях, когда имя, соотносительное с глаголом, означает «чистое» действие, нередко есть основание считать мотивирующим имя, а мотивированным — глагол.

Транспозиция (или синтаксическая деривация) V → nomen actionis отнюдь не исключает существования в языке имен действия, не имеющих однокорневых глаголов и не рассматриваемых поэтому как результат транспозиции: *гул*, *гам*, *гвалт*, *аллюр*, *прессинг*, *дриблинг*, *происки*, *выкрутасы* и мн. др.

Существование таких имен является предпосылкой возникновения глагола от имени со значением действия. Моделью для этого процесса является соотношение V — nomen actionis, «читаемое» справа налево. По словам М. Бродовской-Гоновской, в этом случае «деривация служит восстановлению первичного, примарного соответствия между категориями части речи и понятийными категориями..., хотя обычно процесс развивается в противоположном направлении, т. е. деривация придает словам вторичные значения» [13].

В современной речи от имен со значением действия постоянно образуются окказиональные глаголы. При этом используются все продуктивные глагольные суффиксы, сочетающиеся с именными основами (*сбоить*, *прессинговать*, *анафемировать*, *выкрутасничать*, *самоубийствовать*, см. примеры на стр. 42, 43).

Окказиональные глаголы мотивируются названиями действий: окказиональные слова, естественно, нельзя рассматривать в качестве мотивирующих по отношению к неокказиональным.

Стилистическая маркированность слова также является показателем отношений мотивации: стилистически маркированное слово не может быть мотивирующим по отношению к стилистически нейтральному. Поэтому просторечные или разговорные *шутковать*, *топотать*, *рикошетить*, книжные и специальные *рефлектировать*, *реваншировать*, *рейдировать* и др. с синхронной точки зрения следует рассматривать как мотивированные стилистически нейтральными *шутка*, *топот*, *рикошет*, *рефлекс*, *реванш*, *рейд*.

Окказиональность или стилистическая маркированность слова сохраняют свое значение показателя направления мотивации и в том случае, если имена содержат аффиксальные показатели [14], указывающие на противо-

---

[12] Обстоятельный анализ семантики этих имен (на польском материале) дан Я. Пузыниной (указ. соч., стр. 71—75); ср. также Гр. 70, стр. 93, 94.

[13] M. Brodowska-Honowska, указ. соч., стр. 14.

[14] Эти показатели выделяются на основании сопоставления с мотивированными названиями действия, имеющими тот же суффикс (четвертая степень членимости по шкале М. В. Панова, см.: «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 214—217).

положное направление. Эти явления можно рассматривать как один из случаев обратного словообразования: например, *словопрения*, *кинопутешествие* — окказиональные шутливые *словопреть*, *кинопутешествовать* (*Хватит вам словопреть* — из устной речи; «Наложили на каждого из любителей кинопутешествий штраф... коли любишь *кинопутешествовать*, то гони монету» — Изв. 25 IX 74).

В тех случаях, когда оба члена пары стилистически однотипны и неокказиональны, отношения мотивации устанавливаются на основе системно-словообразовательных факторов [15]; выявляются функции, которые свойственны в словообразовательной системе морфемам, входящим в состав как глагола, так и имени. Рассмотрим с этой точки зрения различные пары V — nomen actionis.

1. Если имя со значением действия содержит морфему, которая отсутствует в глаголе, но выступает в ряде других имен со значением действия, то такое имя всегда считается мотивированным: *получать — получение*, *косить — косьба*, *резать — резка*, *агитировать — агитация*, *монтировать — монтаж*, *действовать — действие*, *странствовать — странствие*, *деликатничать — деликатничанье*.

2. Если имя не содержит такой морфемы, но содержит префикс, выступающий в том же значении в соотносительном глаголе и в ряде других мотивированных глаголов, то такое имя тоже считается мотивированным: *вылететь — вылет*, *доплатить — доплата* и т. п.; обратное отношение не может иметь места в силу того, что эти префиксы неупотребительны в отыменных префиксальных существительных; поэтому, например, отношения *плата — доплата — доплатить* противоречили бы отношениям, господствующим в системе [16].

3. Если показатели, приведенные в п. 1 и 2, отсутствуют, а имя действия соотносится с глаголом на *-ничать* или *-ствовать*, то мотивирующим является имя, а мотивированным — глагол.

Те исследователи, которые во всех парах V — nomen actionis мотивирующим считают глагол, обычно не приводят в качестве примеров глаголы типа *опытничать*, *развратничать*, *фокусничать* «устраивать фокусы (в перен. знач. „капризы, причуды")», *чревоугодничать*, *рукодельничать*, *мордобойничать*, *дебошничать*; *пьянствовать*, *распутствовать*, *самоуправствовать*, *самочинствовать*, *попустительствовать*, *потворствовать*, *кощунствовать*, *святотатствовать*, *ходатайствовать*, *единоборствовать*, *рукоприкладствовать* и т. п. Очевидно, было бы большой натяжкой усматривать в этих парах немотивированный глагол и мотивированное существительное: во-первых, суффиксы *-нича(ть)* и *-ствова(ть)* — характерный признак глаголов, мотивированных именами различных значений (лица, предмета и др.); во-вторых, признавая глаголы *опытничать* или *пьянствовать* немотивированными, мы должны были бы усматривать усечение основ на *-нича(ть)* и *-ствова(ть)*, и это были бы почти уникальные случаи усечения этих основ [17]; в-третьих, безаффиксные имена действия от

[15] О признаке «соответствия определенной модели», которым можно руководствоваться в «трудных» случаях определения направления производности, см., например: Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, Проблемы морфологии в трудах американских дескриптивистов, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 221.

[16] См.: В. В. Лопатин, Способы именного словообразования в современном русском языке (Нулевая суффиксация, субстантивация), АКД, М., 1966, стр. 10.

[17] В Гр. 70 (стр. 67) отсечение финали *-ова-* в глаголах на *-ствова(ть)* отмечено лишь в парах: глагол на *-ствова(ть)* — имя действия с суффиксом *-ij(e)* (*странствовать — странствие* и др.). На стр. 144 отмечено отсечение финали *-нича-* лишь в случаях *капризничать — каприза* и *привередничать — привереда*, однако эти названия лиц можно, по-видимому, рассматривать как мотивированные прилагательными *капризный*, *привередливый*.

глаголов на *-ничать(ть)* и *-ствова(ть)* в современной речи не образуются; в-четвертых, обратный процесс — образование глаголов на *-нича(ть)* и *-ствова(ть)* от имен действия — протекает весьма активно. Вот несколько окказионализмов: *выкрутасничать* («как тут не вспомнить слова М. Светлова, сказанные о поэте, который очень выкрутасничал с рифмами» — Сов. спорт, 12 XI 69), *свиданничать* («Яблокова вернулась к своему кавалеру и продолжала „свиданничать" с ним» — К. пр. 16 VIII 72), *банкетничать* («Банкетничавший с ними генерал Крейш... отдаст им без боя и страну и народ» — И. Дубинский, Большие киевские маневры, КНС [18]), *процедурничать* (*Мы теперь процедурничаем: капаем в нос три вида капель* — из устной речи), *показушничать* (*Показушничает перед нами* — из устной речи), *самоубийствовать* (*Много самоубийств? От безделья самоубийствуют* — из устной речи), *судействовать* («Он уже за два года до войны сошел с ринга, но судействовать продолжал» — С. Клебанов, Севастопольская тетрадь [19]), *землепашествовать* («Он больше танцевал, играл на гитаре и пел, чем землепашествовал» — Ю. Нагибин, Как скажешь, Аурелио...) и т. п.

4. Глаголы на *-овать*, *-ировать*, *-изировать*, *-изовать*, в отличие от глаголов на *-ствовать* и *-ничать*, нередко рассматриваются как мотивирующие (производящие) по отношению к существительным со значением действия, ср. *салютовать*, *стартовать*, *флиртовать*, *протестовать*, *интриговать*, *пировать*, *кейфовать*, *пасовать*, *дрейфовать*, *бунтовать*, *беседовать*, *враждовать*, *штурмовать*, *арестовать*, *атаковать*, *диспутировать*, *дебатировать*, *дебютировать*, *ремонтировать*, *синтезировать*, *анализировать*, *бойкотировать*, *локаутировать*, *импортировать*, *экспортировать*, *контролировать*, *терроризировать*, *шантажировать*, *виражировать*, *канканировать*, *галопировать*, *визитировать* и др. Причина этого заключается, по-видимому, в том, что основы глаголов на *-овать*, *-ировать*, *-изировать*, *-изовать* в отличие от глаголов на *-ничать* и *-ствовать* во многих именах, в том числе и в именах действия, выступают в усеченном виде — без финалей *-ова* и *-ирова-* (*конфисковать — конфискация*, *короновать — коронация*; *симулировать — симуляция*, *массировать — массаж*, *блокировать — блокада*; *реализовать — реализация*, *электризовать — электризация*, *колдовать — колдун*, *организовать — организатор*, *паниковать — паникер*, *куковать — кукушка*, *градировать — градирня*, *компилировать — компилятор*, *рационализировать — рационализатор* и мн. др.), хотя перед некоторыми суффиксами этого отсечения не происходит: *рисовать — рисование*, *воровать — воровство* (отсекается лишь гласная /а/); *жертвовать — жертвователь*, *скирдовать — скирдовальщик*; *проектировать — проектирование*, *лакировать — лакировщик* (отсекается /а/); *теоретизировать — теоретизирование* и др. [20].

Как видим, в парах типа *салют — салютовать*, *ремонт — ремонтировать* и т. п. отсутствуют как признаки девербативности имени, указанные в п. 1 и 2, так и один (второй) из признаков деноминативности, указанных в п. 3. Остаются релевантными первый, третий и четвертый признак деноминативности: наличие в структуре глаголов финалей, материально тождественных с морфами глаголов, мотивированных именами (*-ова-*, *-ирова-*, *-изирова-*, *-изова-*), полное отсутствие в современной речи безаффиксных неологизмов и окказионализмов (в том числе и имен действия), образованных от глаголов на *-ова-*, *-ирова-*, *-изирова-*, *-изова-*, и активность обратного

[18] Так помечаются примеры, взятые из картотеки «Новые слова и значения» ЛО Института языкознания АН СССР.

[19] «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов», М., 1971, стр. 466.

[20] Сведения об усекаемости основ указанных слов в словообразовании существительных и соответствующие примеры взяты из Гр. 70.

процесса; ср. примеры окказиональных глаголов, образованных в современной речи от имен действия с помощью указанных морфов: «гости... *твистовали*, *шейковали*» (А. Лиханов, Паводок); «*фокстротирующая* пара» (В. Маяковский, Клоп); «в конце первого тайма хозяйки площадки начинают „прессинговать“» (Сов. спорт 12 III 65); *Хмельницкий дриблингует* (из спортивного репортажа); *он уже тогда умел здорово свинговать* (из телепередачи); «председатель сельсовета... тоже теперь *рейсовал* с ними» (Пр. 3 I 70); «и вот сегодня мы с ними „ленчевали“, как говорят халдеи, произведя это слово от английского «ленч», то есть завтрак» (Б. Полевой, В конце концов); «лет десять назад критик по неосторожности *анафемировал* его повесть о снежном человеке» (Лит. Россия, 31 I 69); «появление его и его сотрудников голыми во время устраиваемых ими „акций“ он объясняет их желанием бросить вызов обществу, которое *табуизирует наготу*» (Д. Большов, Без позитивной программы, «Новый мир», 1970, 8).

Исходя из сказанного, считаем и глаголы типа *ремонтировать*, *салютовать*, *анализировать* и т. п. деноминативными.

5. Глаголы на *-и(ть)* (X словоизменительный тип по Гр. 70), соотносительные с именами действия [*бредить — бред*, *трезвонить — трезвон*, *форсить — форс*, *блудить — блуд*, *ловить — лов*, *ходить — ход*, *рысить — рысь*, *казнить — казнь*, *бранить — брань*, *блажить — блажь*; *тратить — трата*, *ездить — езда*, *портить — порча*, *платить — плата*, *хохмить* (разг.) — *хохма*], имеют меньше признаков деноминативности, чем глаголы на *-овать*, *-ировать*, *-изировать*; для них не релевантен не только второй (финали *-и-* и *-а-* отсекаются при образовании как многих суффиксальных, так и всех безаффиксных имен), но и третий признак: возможно безаффиксное образование от этих глаголов. Ср.: «главная ответственная работа по собиранию сюжетного материала и его увидению в оформлении — мои *броды* по горам Кавказа» (А. Белый, в сб.: «Как мы пишем», Л., 1930, стр. 11); «вот-вот раздастся конская *ступь*» (Ф. Абрамов, Пути — перепутья).

В то же время возможно и образование окказионализмов (в разговорной и профессиональной речи) от имен действия с помощью продуктивного глагольного суффикса *-и-*: «И чуть подальше от них пытается „*медисонить*“ еще пара» (В. М. 5 VIII 70); «у вас ведь последнее время *сбоит*?» (Л. Зорин, Секундомер); « — Извините, больше не могу. Скоро *вахтить*» (В. Астафьев, Дядя Филипп — судовой механик); *он пытается мостить* (т. е. исполнять прием «мост» в борьбе; из спортивного репортажа); «И ковер-самолет, ничуть не устарев за тысячелетие, резко *пилотажит*, на радость малышам, между реактивными лайнерами старших» (Лит. газ. 29 I 75); «тело мое начало *судорожить*» (А. Бартов, Побег из колчаковской тюрьмы, КНС); «Капризные эти „хэтэзэшки“. Три смены — и уже *люфтит*» («Сельская жизнь» 7 II 67, КНС) и др.

Как же трактовать пары типа *бредить — бред*? Считать ли мотивирующим имя (как в *сбой → сбоить*), а *-и-* — суффиксом или считать мотивирующим глагол (как в *бродить — броды*), а *-и-* — отсекаемым показателем словоизменительного типа, не имеющим словообразовательного значения? Системно-словообразовательные критерии допускают обе трактовки: образование новых слов идет в обоих направлениях. Для случаев типа *бредить — бред* и т. п. целесообразно, по-видимому, использовать семантический критерий, который для многих исследователей является единственным: признать мотивированным имя, поскольку значение действия категориально свойственно не имени, а глаголу.

6. Суффикс $-a_1-$, в отличие от суффикса *-и-*, непродуктивен; новых глаголов от имен (в том числе и от имен действия) он не производит. Следова-

тельно, у глаголов на *-а(ть)*, соотносительных с именами действия, имеется меньше признаков деноминативности, чем у глаголов на *-и(ть)*: в современном языке словообразовательный процесс идет (и довольно активно) только в одном направлении — от глагола к имени (продуктивны главным образом имена на твердую согласную): «РТ (корабль.— *И. У.*) вошел в какой-то свой, не совпадающий с волной и ветром аварийный *кач*» (М. Глинка, Декабрь); «С ревом, с *рыком* врубается в дерево Михаил Пряслин» (Ф. Абрамов, Пути — перепутья); *Потом опять был большой р ы д* (т. е. рыдание; из устной речи); *Прекратите о р*! (из устной речи); «Самая страшная из всех картин на войне — „драп“» (В. Быков, Мертвым не больно); «И все прислушивался он, не рассыплется ли по хутору в лиловой тишине проулков и по воде копытный *цок*» (А. Калинин, Суровое поле).

Исходя из сказанного, глаголы типа *пускать* (ср. *пуск*), *трещать*, *менять*, *работать*, *играть*, *опекать*, *дрожать*, *резать*, *хворать*, *делать*, *хлопотать*, *хохотать* [21], *скрежетать*, *лепетать*, *трепетать*, *шептать*, *роптать*, *рокотать*, *стрекотать*, *цокотать*, *щебетать* и т. п. считаются немотивированными.

7. Имя — название действия, видимо, следует считать мотивированным во всех тех случаях, когда соотносительный глагол имеет показатель словоизменительного типа, не совпадающий ни с одним из суффиксов глаголов, мотивированных именами, ср. *жать*, *жму* — *жим*, *гнать*, *гоню* — *гон*, *зудеть* — *зуд*, *свистеть* — *свист*, *сипеть* — *сип*, *скрипеть* — *скрип*, *храпеть* — *храп*, *хрипеть* — *хрип*, *хрустеть* — *хруст*, *шелестеть* — *шелест*, *шуметь* — *шум*.

Итак, использование системно-словообразовательных показателей приводит к выводу о том, что в качестве глаголов, мотивированных именами со значением действия, целесообразно рассматривать стилистически маркированные глаголы (соотносительные с нейтральными именами), окказиональные глаголы, а также те стилистически нейтральные и неокказиональные глаголы на *-ничать*, *-ствовать*, *-овать*/*-ировать*/*-изировать*/*-изовать*, которые соотносятся с именами, не имеющими материально выраженного аффикса — показателя отглагольности. Все остальные глаголы являются мотивирующими по отношению к соотносительным именам со значением действия.

Как видим, индивидуальные стилистические и лексические свойства слов, а также собственно словообразовательные факторы (функции аффиксов, их продуктивность, отсекаемость — неотсекаемость тех или иных элементов) указывают на мотивацию именем (несмотря на вторичность значения действия у имени существительного).

В близких по значению парах могут быть разные словообразовательные отношения между членами: в одной паре имя действия словообразовательно мотивируется глаголом, в другой — глагол мотивируется именем: ср. *спешить* — *спешка*, но *аврал* — *авралить*; *дежурить* — *дежурство*, но *вахта* — *вахтить*; *осудить* (*-ждать*) — *осуждение*, *проклясть* — *проклятие*, но *анафема* — *анафемировать*; *запретить* (*-щать*) — *запрещение*, [но *табу* — *табуизировать*; *объявить* (*-влять*) — *объявление*, но *анонс* — *анонсировать*; *повторить* (*-ять*) — *повторение*, но *рецидив* —

[21] Во всех словах на *-от* со значением действия считаем целесообразным квалифицировать этот элемент в качестве морфемы, выделяемой либо по соотношению с мотивирующим глаголом и другими словами на *-от* (ср. *топот*, *цокот*, мотивированные глаголами *топать*, *цокать*), либо только по второму из этих соотношений (*хохот*, *рокот* и др.). Возможны и отдельные окказионализмы, образованные с помощью этого в целом непродуктивного суффикса: «*Дробот* колес, на мост наскок / Мчит паровоз на Владивосток» [В. Луговской, Из поэмы «Сибирь» (Сполохи, 18)], ср. *дробить* в значении «часто, прерывисто стучать».

рецидивировать; *обсуждать — обсуждение*, но *диспут — диспутировать*, *дебаты — дебатировать*, *словопрения — словопреть*; *испытать* (*-ывать*) — *испытание*, но *эксперимент — экспериментировать*, *опыт — опытничать*; *передавать — передача*, но *пас — пасовать*; *усилить — усиление*, но *спурт — спуртовать*; *ввезти — ввоз*, но *импорт — импортировать*; *вывезти — вывоз*, но *экспорт — экспортировать*; *починить* (*-ять*) — *починка*, но *ремонт — ремонтировать*; *выступить* (*-ать*) — *выступление*, но *гастроли — гастролировать*; *соединить* (*-ять*) — *соединение*, но *синтез — синтезировать*; *уволить* (*увольнять*) — *увольнение*, но *локаут — локаутировать*.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

Э. В. СЕВОРТЯН

ВСЕГДА ЛИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМ ФОНЕТИЧЕСКИЙ АРХЕТИП ВСЕГО СЛОВА?

(По данным тюркских языков)

Понятие архетипа, или праформы, достаточно старо в сравнительно-историческом языкознании, хотя и обозначалось в разные периоды истории языкознания разными терминами.

Менялось не только обозначение понятия, не оставалось однородным и его содержание. В языкознании XIX и XX вв. это понятие в сущности вытекало из того, как понимались цели и задачи, которые ставились в исторических, а еще более в сравнительно-исторических и особенно в этимологических разысканиях, оно прямо или косвенно следовало из языковедных представлений и понятий, господствовавших в каждый определенный период. Изменялись языковедные представления, изменялось понимание задач этимологических исследований, изменялось и понятие праформы слова, лексической основы, при этом независимо от того, шла ли речь об этимологических исследованиях в рамках отдельного или в масштабе всех языков того или иного генеалогического объединения: исходные теоретические основы данного направления историко-этимологических работ оставались в обоих случаях одни и те же.

Для первой половины или середины прошлого века с распространенными в индоевропейском языкознании представлениями о корне слова [1] было типичным присутствие в этимологических решениях указания на корень этимологизируемого слова (или основы), как это мы видим, например, в одном из ранних трудов по сравнительно-исторической лексикологии — в этимологическом словаре романских языков Ф. Дитца [2], близком по времени своего выхода к «Sprachvergleichende Untersuchungen» и «Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht» А. Шлейхера, также изданным в Бонне.

Почти через 60 лет после первого издания словаря Ф. Дитца появился новый этимологический словарь романских языков В. Мейера-Любке [3]. За истекший более чем полувековой период в сравнительно-историческом языкознании произошли принципиальные изменения, прямо коснувшиеся также и этимологических разысканий. Под влиянием результатов, полученных языковедами младограмматического направления в исследованиях по сравнительно-исторической фонетике индоевропейских языков, прежние представления об индоевропейском корне уступили свое место новой интерпретации, согласно которой глагольный или именной корень в индоевропейских языках представляет собой больше теоретическое построение,

[1] М. Мюллер, Наука о языке, Воронеж, 1868; A. Fick, Wörterbuch der indogermanischen Grundsprache, Göttingen, 1968.

[2] F. Dietz, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, 1853 (5-е изд. — Bonn, 1887; 4 и 5-е изд., просмотренные автором, были осуществлены А. Шелером).

[3] W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1911—1914 (2-е изд.— Heidelberg, 1911—1920; 3-е перераб. изд.— Heidelberg, 1935).

чем реально доказуемый исторический факт. К этому же заключению пришли русские языковеды и раньше других А. А. Потебня [4].

В тесной связи с этим в этимологических разысканиях внимание исследователей переместилось с вопроса о морфемном составе слова на его фонетический состав, на слово как фонетическое целое.

Специальные этимологические исследования в тюркском языкознании начались значительно позже и после выхода в свет первого этимологического словаря тюркских языков — словаря А. Вамбери [5] — надолго прервались и лишь через восемьдесят с лишним лет возобновились вновь, приняв уже более или менее систематический характер [6]. До этого последнего периода этимологические работы в тюркологии сосредоточивались на отдельных словах и к середине нашего столетия в тюркологии накопился значительный материал по этимологическим разработкам, начатым еще трудами Л. З. Будагова, О. Бётлингка, Ю. Т. Ценкера, а затем в более широких масштабах трудами В. В. Радлова, и продолженным далее — вплоть до настоящего времени — целым рядом выдающихся отечественных и зарубежных тюркологов: Ф. Е. Коршем, П. М. Мелиоранским, А. Н. Самойловичем, С. Е. Маловым, Е. В. Поливановым, В. А. Гордлевским, Н. К. Дмитриевым, А. Н. Кононовым, В. Бангом, Г. Рамстедтом, З. Гомбоцом, Ю. Неметом, К. Брокельманом, М. Рясяненом, А. фон Габен, К. Г. Менгесом, Дж. Клоусоном и др.

По своим научным основам этимологические работы в тюркском языкознании не были однородными. Большинство их шло в русле классической, традиционной тюркологии, однако заметная и в последние десятилетия все растущая часть этимологических разработок проводилась с позиций теории родства алтайских языков — тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских (работы Вл. Котвича, Г. Рамстедта, М. Рясянена, Н. Поппе, А. Йоки и др.) с присоединением к ним корейского и в меньшей мере японского языков (работы Е. Д. Поливанова, Г. Рамстедта), или еще шире — с позиций общности урало-алтайских языков (М. Рясянен, А. Соважо, Д. Шинор, Б. Коллиндер и др.).

Остановимся на некоторых особенностях тюркских языков, существенных для рассматриваемого здесь вопроса. Мы имеем в виду фузию — морфонетические изменения, которые происходят в слове в местах соединения морфем, в результате чего исчезает граница, например, между производящей основой (resp. корнем) и словообразовательным аффиксом и образуется новая основа, уже не членимая на исходные морфемы, как об этом писал В. В. Радлов в своих «Einleitende Gedanken» [7].

В тюркологии фузия рассматривается также в качестве исторического способа соединения морфем, главным образом аффиксальных, как об этом пишет, например, А. Н. Кононов [8].

---

[4] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888.

[5] H. Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der Turko-tatarischen Sprachen, Leipzig, 1878.

[6] В. Г. Егоров, Этимологический словарь чувашского языка, Чебоксары, 1964; «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі», Алматы, 1966; G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen... I — Mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1963; II — Türkische Elemente im Neupersischen..., Wiesbaden, 1965; III — Türkische Elemente im Neupersischen..., Wiesbaden, 1967; M. Räsänen, Versuch eines etymologisches Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki, 1969; G. Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford, 1972.

[7] W. Radloff, Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen, SPb., 1906, стр. 22.

[8] А. Н. Кононов, Фузия в тюркских языках, сб. «Структура и история тюркских языков», М., 1971, стр. 108—310 (здесь же основная литература вопроса).

Случаи фонетического преобразования границы производящей основы и словопроизводного аффикса в тюркских языках относительно немногочисленны и количественно не идут в сравнение с индоевропейскими языками с их флексией, которая во многих случаях препятствует вычленению корневой (resp. производящей) и словообразовательной морфем. В тюркских языках, за исключением определенной части односложных лексических основ, куда входят также и корни, преобладающее большинство неодносложных именных и глагольных основ достаточно ясно делится на производящую, включая сюда также и корневую, основу и словообразовательный показатель. Понятие корня в тюркских языках является не научным выводом или теоретическим построением, но реальной лексической единицей, функционирующей в тюркских языках во все периоды их истории. В дополнение к этому наиболее распространенные корни образуют гнезда со своими производными, из которых их корень легко выделяется. В свою очередь словообразовательные аффиксы — продуктивные и непродуктивные — также образуют гнезда производных слов, более обширные чем корни, и из этих производных столь же доказательным образом вычленяются словообразовательные аффиксы.

Членимость неодносложной (в ряде случаев и односложной) основы — в том числе также двухсложной — на производящую основу и словообразовательный аффикс открывает возможность этимологизации слова по его составляющим элементам, т. е. морфемам. Именно так этимологизировались структурно затемненные основы в тюркских языках с самого зарождения тюркского языкознания. Так, но чисто интуитивно, поступал, например, Махмуд Кашгарский в своем «Диване» [9]. В прошлом столетии первые этимологии в тюркском языкознании строились на анализе корневой части этимологизируемого слова, как это можно видеть в словарях Л. З. Будагова [10], Ю. Т. Ценкера [11], А. Вамбери [12] и затем В. В. Радлова [13].

В последующие десятилетия сам принцип этимологизации в тюркологии не менялся, но в методику были внесены некоторые существенные дополнения двоякого рода: 1) было обращено внимание на словообразовательный компонент лексической основы, без анализа и квалификации которого морфемный анализ слова не может считаться законченным, и 2) поднят на современный уровень фонетический анализ в ходе этимологизации, а у ряда авторов выдвинут на передний план в качестве центральной задачи этимологического анализа. На словопроизводный аффикс ссылался порою в своих этимологиях уже А. Вамбери, а затем более регулярно В. В. Радлов.

---

[9] «Divanü lûğat-it-Türk», çeviren Besim Atalay, I—III, Ankara, 1943; «Divanü lûğat-it-Türk» tıpkıbasımı «Faksimile», Ankara, 1941.

[10] Л. З. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, I — СПб., 1869; II—СПб., 1871 (примеры: *бøрек* «пирожок» بورمك 2), بورشمك «стягивать, собирать сборы» I_{277}; *бичен* «сено» < *бич-* «*жать, косить*» I_{244}; *бøрук* «шапка» < بورمك 1) «покрывать, накрывать» I_{277}; сравнивались чагат. *беслемек* и *бесмек* «кормить, воспитывать» I_{258} и ряд др.).

[11] J. Th. Zenker, Dictionnaire Turc-Arab-Persan, 1 — Leipzig, 1866; 2 — Leipzig, 1876 (примеры: *бичен* «сено» < *бич-* «жать» I_{178}; *барышмак* «мириться» < возвр. от *бармак* «ходить друг к другу»; *бертмек*, *буртмек* «вывихнуть» < понуд. от *бурмак* I_{186}; *башламак* «начинать» — ср. *баш* и *башар-* I_{165} и др.).

[12] H. Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der Turko-tatarischen Sprachen, Leipzig, 1878; его же; Die primitive Cultur des turkotatarischen Volkes auf Grund sprachlicher Forschungen, Leipzig, 1879.

[13] В. В. Радлов, Опыт словаря тюрских наречий, I—IV, СПб., 1893—1911 (примеры: *бичен* «сено» < *бич-* «жать, скашивать» IV_{1348}; *біІäзік* «браслет» < *біІäк* + *jÿзÿк* $IV_{1338, 1762, 1794}$; *бäсІä-* «кормить» < *бäс* + *Іä* $IV_{1628-1629}$; *бäкІä-* «ждать» < *бäк* + + *Іä* IV_{1578}; *башкар-* «господствовать» < *баш* + *кар* IV_{1554}; *башак* «колос» < *баш* + *ак* $IV_{1554-1555}$; *балауз* «воск» < *пал* + *jагыз* IV_{1491} и др.).

В исследованиях П. М. Мелиоранского [14] и Ф. Е. Корша [15] этимологические разыскания велись на новом уровне с равным вниманием к корневому и словообразовательному компонентам анализируемой основы, к ее фонетическим модификациям в разных источниках, в результате чего этимологические работы П. М. Мелиоранского и Ф. Е. Корша нередко завершались фонетической реконструкцией, особенно если морфемная реконструкция оказывалась невозможной.

Особым вниманием русских тюркологов пользовалась семасиологическая сторона в этимологическом анализе.

Методика этимологического анализа русской классической тюркологии, проверенная временем, без принципиальных изменений сохраняется в советской тюркологии.

В работах В. Банга был сделан еще шаг в совершенствовании приемов этимологических исследований на тюркском материале. Сохраняя принцип морфемного анализа в своих этимологиях, В. Банг предпринял специальные исследования целого ряда словообразующих (и формообразующих) аффиксов, но в его этимологических разработках особое внимание нередко занимал фонетический анализ лексической основы или словообразовательного аффикса, реконструкция их фонетического архетипа [16].

Основные приемы сравнительно-исторического анализа В. Банга в области этимологии и исторической лексикологии без существенных изменений сохраняются в работах А. фон Габен [17], К. Брокельмана [18] и др.

Многочисленные работы Г. Рамстедта [19], а также других представителей его школы — М. Рясянена [20], А. Йоки [21] и других по приемам этимологического анализа примыкают к зарубежным, отчасти к отечественным разысканиям дооктябрьского времени, как это можно видеть, например, в ранних работах Г. Рамстедта.

К господствующему направлению зарубежных этимологических исследований принадлежат также работы Дж. Клоусона [22], Г. Дёрфера [23] и др.

---

[14] П. М. Мелиоранский, Турецкие элементы в языке Слова о полку Игореве, ИОРЯС, VII, кн. 2, 1902; его же, Вторая статья о турецких элементах в языке Слова о полку Игореве (ответ Ф. Е. Коршу), ИОРЯС, X, кн. 2, 1905.

[15] Ф. Е. Корш, Турецкие элементы в языке Слова о полку Игореве, ИОРЯС, VIII, кн. 4, 1904; его же, По поводу второй статьи проф. П. М. Мелиоранского «О турецких элементах в языке Слова о полку Игореве», СПб., отд. отт. из ИОРЯС, XI, кн. 1, 1906.

[16] W. Bang, Beiträge zur türkischen Wortforschung, Túrán, 1918, Majus, 5 szam; November—Deszember, 9—10 szam; его же, Vom Köktürkischen zum Osmanischen, 1 — APAW, 1917, 6; 2, 3 — APAW, 1919, 5; 4 — APAW, 1921, 2; его же, Studien zur vergleichenden Grammatik der Türksprachen, 1—SPAW, XXII, 1916; 2 — SPAW, XXXVII, 1916; 3 — SPAW, LI, 1916; его же, Turkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut, I—VII: UJb., V, 1925; VII, 1927; X, 1930; XII, 1932; XIV, 1934.

[17] A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, 2 Aufl., Leipzig, 1950; ее же, Türkische Turfan-Texte, VIII, Berlin, 1954; ее же, Türkische Turfan-Texte, IX, Berlin, 1958; ее же, Türkische Turfan-Texte, X, Berlin, 1959.

[18] C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, Leiden, 1954.

[19] G. J. Ramstedt, Zur Verbstammbildungslehre der mongolisch-türkischen Sprachen, JSFOu, XXVIII, 1912; его же, Studies in Korean etymology, Helsinki, 1949; его же, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, Formenlehre, Helsinki, 1952; его же, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, I. Lautlehre, Helsinki, 1957.

[20] M. Räsänen, Uralaltaishe Wortforschungen, «Stud. or.», XVIII, 3, 1955; его же, Uralaltaische Forschungen, UAJb, XXV, 1—2, 1953; его же, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki, 1969; его же, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1957,

[21] A. J Joki, Die Lehnwörter des Sajan-Samojedischen, Helsinki, 1952.

[22] G. Clauson, Turkish and Mongolian studies, London, 1962; его же, An etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972.

[23] G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen..., I, II, III; его же, Khalaj materials, The Hague, 1971.

Сказанное об этимологических исследованиях в индоевропейском и тюркском языкознании указывает на различие в задачах этимологического анализа в тех и других языках, обусловленных лексико-грамматической природой слова в них, т. е. с флективной природой индоевропейских и агглютинативной природой тюркских языков.

В последние десятилетия немало пишется об относительности фактических отличий [24] между этими структурными типами, о том, что в различных индоевропейских языках известны факты агглютинации, даже парадигматического порядка, как считают некоторые; в свою очередь тюркским языкам не чужды явления флексии, к которой, говорят сторонники этого взгляда, *можно отнести, например, фузию и некоторые другие явления.*

Однако все такие факты составляют отклонения, которые не способны сколь-нибудь существенно ослабить господствующий структурный тип.

Поэтому естественным образом возникает вопрос о соотношении и месте морфологической и фонетической реконструкции при этимологизации тюркской неодносложной (и при определенных условиях односложной) основы, в частности, во всех ли случаях необходима фонетическая реконструкция всей основы или будет более достоверной и доказательной лексико-грамматическая и фонетическая реконструкция корневой и словообразовательной морфем, образующих этимологизируемую основу.

В самом деле, что можно узнать о фоно-морфо-семантическом прошлом основы *ajaq* и т. д. (в современных языках) «нога» из фонетической реконструкции ее архетипа (праформы) в виде **aδaq*, если из морфемного анализа данной основы выясняется, что она является производной формой, образовавшейся от глагола *at-(āt-)* ~ *ad-* ~ *aj-* «ступать, шагать, ходить», зарегистрированного в современных языках и памятниках или вычленяемого из ряда производных, и отглагольно-именного словообразовательного показателя *-(α)q...* со значением орудия/средства действия? Да и можно ли принять этот фонетический архетип за старейший, если названный глагол не отмечался в форме *aδ-*? Точно так же мало что можно узнать о происхождении глагола «лизать» по одному его фонетическому архетипу, реконструированному в виде **jālγa-*, когда морфемный анализ приводит нас к производящей основе *jal* «жидкая пища для собак» и отглагольно-именному словообразовательному аффиксу *-qa-* (или *-a-* : *jal-a-*) со значением объекта действия.

Как видно из этих справок, и в данном случае приведенный фонетический архетип не оказывается предельно достижимым, так как более старый фонетический облик глагола имеет вид **jal-qa-*, а отсюда в дальнейшем **jal-γa-*.

Аналогичные замечания может вызвать и реконструируемая фонетическая праформа **jyltyra-* «сверкать, блистать». Глагол **jyltyra-* образован от подражательного корня *jyl/jal* + модификатор со значением прерывности *-t* + модификатор со значением протяженности действия *-yr* + глаголообразующий аффикс *-a-*. Следовательно, его фономорфемный архетип — если только он вообще нужен — имеет вид **jαl-t-yr-a-*. Аналогично: **bert-* «вывихнуть» восходит к **ber-* «быть вывихнутым; быть поврежденным» + + аффикс понудительности/переходности *-(α)t-* и, следовательно, старейшая форма глагола не **bert-*, а **ber-(i)-t-*; **aδyr-* (но лучше *adyr-*) — из **ad-* + показатель понудительности/переходности *-(α)r-*, следовательно, фонетический архетип всего слова — если только в нем имеется надобность — будет **ad-ir-* и т. п.

[24] «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.— Л., 1963 (см. статьи Н. А. Баскакова, Т. А. Бертагаева, Б. А. Серебренникова, О. П. Суника); «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.— Л., 1965 (см. статьи Т. А. Бертагаева, Б. А. Серебренникова, О. П. Суника).

Восстановление фонетической праформы всей основы без учета ее морфемного состава чревато смешением фонетических и морфологических явлений, как это можно видеть в **tyγyr'* — в кирг., казах. *tyγyz* «тесный; плотный», которое образовалось от глагола *tyq-* «набивать; закладывать; затыкать» + отглагольно-именной словообразовательный показатель -(*α*)*z*, здесь имеющий атрибутивное значение; следовательно, фонетическая праформа основы будет иметь вид **tyq-yz* и -(*y*)*z* в данном производном не фонетический, а морфологический факт, и для реконструкции -*z* > **-r'* оснований нет.

Реконструкция фонетической праформы основы в принципе не может быть панхронической и нуждается в относительной хронологизации. Это условие нелегко соблюсти в отношении основ с обыденными значениями, примеры которых приводились выше. Но в ряде случаев это возможно и нужно. Так, в половецком «Кодексе» встречается обозначение для «церкви, храма», которое издатель словаря «Кодекса» К. Грёнбек достаточно доказательно читал как *jyx-öv*[25], восходящее к **yjyq ev* букв. «святой дом» → → «храм, церковь». Переход *yjyq-ev* в *jyx-öv* затруднений не представляет, так как эволюция *q* > *x* массово представлена в «Кодексе», редукция же и элизия анлаутного предударного узкого гласного хорошо известна в кыпчакских и других группах тюркских языков. Приведенное **yjyq ev* — не древнейшая форма этих слов. Их более старая форма имеет фонетический облик **yduq* (~ *ȳduq*) *eb*, который можно было бы принять за праформу *jyx-öv*. Но тюрколог не имеет права на это, так как в эпоху существования форм *yduq* и *eb* тюрки христианских храмов еще не знали и вряд ли могли создать словосочетание *yduq eb* для обозначения неведомого им предмета «церковь, храм».

Число примеров приведенного выше типа при необходимости может быть значительно увеличено, но в этом едва ли имеется надобность, поскольку из приведенных образцов ясно, что реконструкция древнейшего состояния этимологизируемой основы по одним лишь фонетическим данным недостаточна, она может придать неверное направление для этимологизации и оказаться ошибочной.

Фономорфемная реконструкция, разумеется, не формальный акт. Она всегда предполагает конкретную квалификацию каждой морфемы, входящей в этимологизируемую основу. Довольно часты лексические основы, морфологическая реконструкция которых может обойтись без лексико-грамматической и фонетической квалификации исходных морфем, образовавших основу. В таких случаях достаточна условная запись, из которой без труда можно узнать о морфемном составе лексической основы. Так, например, запись **bög-ček* говорит о том, что слово *böğek* «насекомое; козявка» и т. п. в турецком, крымскотатарском и др. возникло из *bög* «вид насекомого» (Kāšǧ. $III_{131,141}$) и показателя с уподобительно-уменьшительным значением в форме *-čaq*. Или другая запись: **jal-t* — подражательное слово, передающее вспышку, сверкание; из записи нетрудно заключить, что данное слово сложилось из сочетания корня *jal* с тем же значением и модификатора *-t*, означающего прерывность действия. Еще одна запись: **bögür-ek* (или **bügür-ek*), которая тюркологу говорит о том, что *bögrek* ~ ~ *bōvrek* ~ *böjrek* и т. д. «почка, почки» образовалось из *bögür/bügür* со значением «почка, почки; бок; бедро» и показателя -(*a*)*q* с уподобительно-уменьшительным значением.

Разумеется, такие записи может понять лингвист-тюрколог, языковеду другой специальности это удастся не всегда.

Однако даже опытнейший тюрколог вряд ли сможет как следует понять

[25] K. Grönbech, Komanisches Wörterbuch, København, 1942, стр. 132.

содержание записей, подобных следующим: *jeŋil < jen-gil «легкий», *jumδur-uq «кулак», *qan'-aq «сливки», *tarla-γ «поле», *til-ǧik «клеветник» < til, til «язык», *topıq «лодыжка» < top «мяч», *tun'a-q «копыто; ноготь; коготь» и т. п. Что означают в этих реконструкциях их первые элементы и что вторые, какими морфосемантическими отношениями они связаны между собой — остается неясным, и потому запись в таком виде ни о чем не говорит, создавая лишь формальную видимость морфемного членения приведенных основ.

После всего сказанного правомерен вопрос: можно ли в о о б щ е отказываться от реконструкции фонетического архетипа реконструируемой основы. Нет, в о о б щ е отказываться нельзя, так как в значительном числе случаев восстановление древнейшего морфемного состава основы, в том числе и неодносложной, невозможно. В подобных условиях тюрколог в ы н у ж д е н довольствоваться единственной возможностью: на основе фонетических данных об этимологизируемом слове и его фонетических модификациях, на основании известных в науке фонетических закономерностей, относящихся и к данному слову, восстановить наиболее доступный первоначальный фонетический облик данной основы. Так приходится поступать в отношении большинства односложных и целого ряда неодносложных основ, например, *aδ- или *ad- «приходить в себя; отрезвляться» при современном aj- (преимущественно в составе производных aj-ıl-, aj-ıq и т. д.); *a:l «алый» при современных и в памятниках a:l, al в том же значении; *a:r- «уставать» при современных и в памятниках (h)ar-, a:r-, ar - u- в том же значении, «худеть» якут. (ır-), ar-ıq «тощий» и т. д.; *a:š- «переваливать» (через что) при современных и в памятниках a:š-, aš- в том же значении, aš-a «через; по ту сторону», aš-ın- «подниматься» и т. д.; *a : t «имя» при современных и в памятниках a:t, at то же, a:da-, ada- «называть»; *a:z «малый» при современных и в памятниках a:z, az в том же значении; *be:l «поясница; талия» при современных и в памятниках bi:l, bel и др. в том же значении; *bešik/bešük или *bė̇šik/bė̇šük при современных и в памятниках bešik, bi:šik, bösük и т. д. в том же значении; *qoγ «(про)гнать» при современных qoγ-, qov- и т. д. в том же значении и др.; *ju:rt «страна, край» и др. при современных и в памятниках ju:rt, jurt в том же значении и др.; *ča:qa «птенец; дитя, ребенок» при современных и в памятниках čaqa (в составе парного bala čaqa «дети, детвора»), čaγa в том же значении и большое число других односложных и нередко неодносложных основ.

Выше мы остановились лишь на распространенных и типичных случаях этимологизации в сравнительно-исторических работах по тюркской лексикологии, оставляя в стороне переходные формы между типичными случаями, поскольку они не могут прибавить чего-либо существенно нового к тому, что уже было сказано.

Научно-исследовательская работа, ведущаяся в тюркологических центрах страны, в настоящее время начинает развиваться в новых направлениях, среди которых сравнительно-исторические исследования должны быть отмечены особо ввиду их значения для углубления научной работы в тюркологии.

В свете этого приобретает актуальное значение дальнейшая отработка и дифференциация методик, применяемых в сравнительно-исторических разысканиях, и среди них не в последнюю очередь методика реконструкции архетипа.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

М. Д. СТЕПАНОВА

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ

Моделирование как один из методов лингвистического анализа широко применяется в современном языкознании, хотя само понятие модели и моделирования не имеет однозначного толкования. В целом можно наметить три основных утвердившихся сферы применения моделирования, а тем самым и его понимания: 1) как теории языка в целом (или одной из его областей); 2) как методики или аппарата применяемого анализа; 3) как типовой языковой структуры с большей или меньшей степенью обобщения. Два первых понимания модели (соответственно английскому термину «model»), допускающие дальнейшее членение на подвиды, введены в теорию языкознания, в первую очередь, в различных направлениях структурной лингвистики. Третье понимание применяется по отношению к единицам разных уровней и областей языка при их конкретном анализе (ср. английский термин «pattern»), главным образом, в синтаксисе (иногда в качестве синонима по отношению к терминам «тип», «схема», «структура»). В отношении словообразования интерпретация модели в этом последнем понимании формулируется следующим образом: словообразовательная модель — это *стабильная структура, обладающая обобщенным лексико-категориальным значением и способная наполняться разным лексическим материалом* (т. е. разными лексическими основами) [1].

Поскольку перечень и описание словообразовательных моделей в данной интерпретации даны в ряде работ последних лет (естественно, в их разных вариантах в зависимости от того или иного языка, а также разной степени принимаемой авторами обобщенности), не будем останавливаться на их трактовке и перейдем к некоторым моментам моделирования, нуждающимся в уточнении.

Понятие модели в любом ее толковании представляет собой атрибут определенной формализации описания языка и получило распространение именно в те годы, когда последняя привлекала особое внимание лингвистов, независимо от их принадлежности к тому или иному направлению. При этом, несмотря на выявленное выше различие между тремя видами моделирования, между ними имеется и определенное сходство. Так, в области словообразования отдельные *типовые* структуры (pattern) входят в качестве составных частей в общую *макромодель* (model) словообразовательной системы, ее обобщенный эталон, дающий возможность найти объяснение любого слова, функционирующего в современном языке. В то же время моделирование — это определенный метод синхронного анализа языка; таким образом, *все три названные выше понимания модели должны получить признание, схо-*

[1] Это определение модели дано в нашей книге «Методы синхронного анализа лексики» (М., 1968, стр. 149). См. также: M. D. Stepanowa, Methoden der synchronen Wortschatzanalyse, übersetzt von G. Helbig, Halle (Saale), 1973, стр. 109.

дятся и взаимодействуют при лингвистическом анализе, в нашем случае — в области словообразования.

Модель — это не только структура: она предполагает определенное содержание, характеризующее структуру. Именно содержание модели, иначе — ее семантическая сторона, в настоящее время приобретает особое значение, поскольку решительный поворот к примату семантики характеризует современное языкознание [2].

В связи с этим интерес вызывает принцип моделирования на основе семантики как исходного положения. По существу это принцип не новый. Таковы, например, в синтаксисе «логико-грамматические типы предложения» В. Г. Адмони [3]; четыре основных модели предложения Х. Бринкмана, обозначаемые в терминах их смыслового содержания [4]. За последнее время данное толкование модели находит все более последовательное и аргументированное освещение. Так, О. И. Москальская пишет, что «единицей семантического моделирования должна стать не структурная схема предложения, т. е. поверхностная структура..., а структура смысла предложения, или семантическая модель предложения, так как лишь она является единицей, гомогенной самому понятию семантики» [5]. Развивая данное положение, автор отмечает «отсутствие прямого соответствия между смысловой структурой (или глубинной структурой) предложения и его поверхностной структурой», возможность «выражения одной семантической модели предложения несколькими различными формальными (поверхностными) структурами» [6].

Обратимся к методике словообразовательного анализа и возможности применить в данной области семантический принцип моделирования, т. е. четвертый возможный тип модели.

Структурно-семантические модели (pattern) опираются на форму выражения, хотя и связаны с категориальной семантикой; в целом они могут рассматриваться как поверхностные структуры. При этом, как и в синтаксисе, в словообразовании возможна омонимия: например, немецкая субстантивная модель с суффиксом *-er* может обладать категориальным значением лица (*Lehrer*, *Arbeiter*, *Zwanziger*, *Engländer*), неодушевленного предмета (*Wecker*, *Dampfer*, *Leuchter*, *Behälter*), абстрактного понятия (*Schluchzer*, *Seufzer*, *Walzer*); немецкий именной префикс *ur-* обозначает признак древности, первоначальности (*Urzeit*, *Uraufführung*, *urverwandt*) или усиления (*uralt*, *urplötzlich*); определительный композит выявляет в ряде случаев, даже при наличии общего компонента, разные отношения: *Goldring*, *-zahn*, *-uhr* (отношение вещественности), *Goldgrube*, *-bergwerk* (локальное отношение), *Goldwage* (отношение цели) и т. п. Таким образом, наряду с поверхностной структурой, свойственной модели, отдельные слова, как и синтаксические единицы, обладают глубинной структурой. С другой стороны, та или иная глубинная структура может выражаться разными моделями с суффиксами и полусуффиксами (*-ling*, *-e*, *-bold*, *-mann*

---

[2] См. по этому поводу: Л. Н. Засорина, В. Н. Мороз, О принципах семантического анализа, ВЯ, 1971; 6; Н. А. Слюсарева, Проблемы лингвистической семантики, ВЯ, 1973, 5; Р. А. Будагов, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4.

[3] В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955 (см. также его последущие работы).

[4] E. Brinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1962, стр. 510 и далее.

[5] О. И. Москальская. Проблемы семантического моделирования в синтаксисе, ВЯ, 1973, 6, стр. 34.

[6] Там же, стр. 36.

и т. д.), субстантивированными причастиями и прилагательными, корневыми словами; признак усиления выражается целым набором словообразовательных средств и т. п. Тем самым встает вопрос о моделировании, исходящем из принципа семантики, т. е. о выявлении лексико-семантических категорий, выражаемых разными структурными моделями. Одной из первых попыток данного типа является выделение «блоков» (Wortstände) на основе «семантических» или словарных «ниш» (semantische Nischen[7], Wortnischen [8]), т. е. групп слов с общей категориальной семантикой внутри отдельных словообразовательных структур. Эта методика, предложенная Л. Вайсгербером и его последователями, будучи освобожденной от ее идеологической сущности, вызывает интерес именно с точки зрения принципа семантического моделирования.

За последние годы вопрос о выявлении широких семантических категорий, выражаемых разными словообразовательными структурами, все больше привлекает внимание отдельных исследователей. В. Флейшер подчеркивает сложность данной задачи и предпочтительность, в связи с этим, опоры на языковые формы (т. е. структурно-семантические модели). Однако, по его мнению, следует в отдельных случаях исходить из «семантико-функциональной точки зрения»; он указывает на то, что эта мысль высказывалась еще Г. Паулем [9]. В число обобщающих таблиц В. Флейшер включает такие, которые иллюстрируют соотношение семантических категорий и выражающих их средств, а именно: в составе существительных — обозначение лиц, приборов, места, коллективности, действия, состояния (с использованием немецких и заимствованных суффиксов) [10], в составе глаголов — семантические группы префиксов, выражающих начало, завершение, продолжительность, интенсивность, привативность и некоторые другие значения [11]. Интерес представляет оригинальное построение раздела «Словообразование» в последнем издании грамматики Дуден [12]. Исходя из соотношения производных слов и их синтаксических трансформ, автор приходит к семантическим «группам» с указанием на те средства, которые их выражают раздельно в составе отдельных частей речи. Х. Бринкман выделяет «понятийные» классы существительных на основе грамматического рода и словопроизводства; прилагательные он также делит на «блоки», связывая их со словопроизводством, и подчеркивает лишь частичное соответствие «содержания и структуры» [13].

На материале русского языка отдельные семантические категории, выражаемые наборами суффиксов, выявлены в «Грамматике современного русского литературного языка» в основном в составе существительных [14].

Названные выше конкретные попытки выделить способы выражения семантических категорий при помощи средств словопроизводства представляют собой имплицитно переход к семантическому моделированию. Несмотря на то, что привлекаются не все способы словообразования (обыч-

[7] См.: K. Baldinger, Kollektivsuffixe und Kollektivbegriff. Ein Beitrag zur Bedeutungslehre im Französischen mit Berücksichtigung der Mundarten, Berlin, 1950.

[8] Ср.: L. Weisgerber, Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik, Düsseldorf, 1962; L. Weisgerber, Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung, Düsseldorf, 1971.

[9] W. Fleischer, Wortbildung der deustchen Gegenwartssprache, 3. überarbeitete Aufl., Leipzig, 1974, стр. 21, 22.

[10] Там же, стр. 198 и сл.

[11] Там же, стр. 346.

[12] «Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», 3. neu bearbeitete und erweiterte Auf., Mannheim — Wien — Zürich, 1973, стр. 345 и сл.

[13] H. Brinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1971, стр. 16—40; 116—136.

[14] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 46—141.

но только словопроизводство), а также на значительную долю субъективности и спорности в отношении как выделения семантических «групп», так и соответствующих формулировок, такие попытки следует оценить положительно. Нельзя забывать при этом, что выявлению семантических моделей словообразования должно предшествовать тщательное изучение самих структур во всем многообразии их категориальных значений. В этом плане следует отметить, что литература по словообразованию включает уже ряд исследований, поэтапно подводящих к эксплицитно раскрывающемуся семантическому моделированию. На материале немецкого словообразования выполнены исследования советских лингвистов в отношении категории лица, усиления [15] и других семантических категорий.

*

Выявление словообразовательных моделей (вне зависимости от принимаемого принципа моделирования) представляет собой важную часть словообразовательной теории, но не всю теорию в целом. Крайне существенно изучение функционирования моделей в живом языковом общении, иначе — их реализации: данная проблема входит в еще мало исследованную область лингвистической вероятности, т. е. применения в лингвистике философской категории вероятности как «степени возможности» некоторого события, которое может как произойти, так и не произойти [16]. Признавая, что достаточно объективно обоснованное изучение лингвистической вероятности должно опираться на данные статистики [17], отметим все же, что возможно высказать ряд соображений, основанных на непосредственно эмпирическом наблюдении над фактами конкретного языка. В качестве общей предпосылки в отношении реализации словообразовательных моделей в синхронии следует признать наличие двух планов их функционирования: во-первых, изучение уже готовых слов, созданных по тем или иным образцам, во-вторых — предсказуемость образования новых слов (возможно, и новых вариантов моделей) при дальнейшем развитии словаря. В современной теории словообразования эти оба плана выявляются достаточно четко. Если еще Л. В. Щерба писал, что следует различать процесс образования слова от того, как оно «сделано» [18], то сейчас принято употреблять в этом отношении специальную терминологию. Так, авторы «Грамматики современного русского литературного языка» отказались от термина «словопроизводство», заменив его термином «мотивированность» [19]. М. Докулил предлагает противопоставлять «словообразованию» (Wortbildung) «словообразованность» (Wortgebildetheit) [20]; В. Флейшер

---

[5] Т. В. Чекунаева, Семантическая группа имен деятеля (лица) в современном немецком языке. КД, М., 1964; Р. З. Мурясов, Категория одушевленности в современном немецком языке. КД, М., 1969; его же, Структура словообразовательных полей лица и инструмента в современном немецком языке. ВЯ, 1972; 4; И. Д. Молчанова, Усилительные прилагательные в современном немецком языке. КД, М., 1954.

[16] «Философская энциклопедия», I, М., 1960, стр. 244.

[17] См.: В. Н. Топоров, О введении вероятности в языкознание, ВЯ, 1959, 6; В. Г. Адмони, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, ВЯ, 1963, 4; его же, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 62—79; его же, Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений. ВЯ, 1970, 1; его же, Пути развития грамматического строя в языке. М., 1973; Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, К вопросу о применении статистики в языковедении, ВЯ, 1968, 6.

[18] Л. В. Щерба, Очередные вопросы языкознания, ИАН ОЛЯ, 1945, 5, стр. 18.

[19] «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 46 и далее.

[20] M. Dokulil, Zur Wortbildung, сб. «Zur Lexikologie der deutschen Sprache der Gegenwart. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität. Leipzig», 17. Jahrgang, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Hf. 2/3, 1968, стр. 203.

различает «процессуальный» и «аналитический» подход к словообразованию [21]; в более широком плане, а именно по отношению к лингвистической вероятности на разных уровнях языка, С. Стати пишет о «динамических» и «структурных» возможностях [22]. Автор данной статьи не считает целесообразным отказываться от традиционных терминов «словопроизводство», «словосложение» (как и в целом «словообразование»), но различает «процессуальный» и «статический» аспекты словообразовательного анализа.

Условия реализации словообразовательных моделей, вне зависимости от «процессуального» или «статического» планов их исследования, следует расчленять на интра- и экстралингвистические. К первым относятся, в первую очередь, частотность—нечастотность, с одной стороны, и продуктивность — непродуктивность моделей, с другой стороны. При этом степень частотности существенна как для статического, так и для процессуального аспектов, степень продуктивности и непродуктивности только для процессуального аспекта. Как будет показано ниже, и частотность, и продуктивность частично относятся и к экстралингвистическим моментам, но в своей основе они связаны с языковой традицией, т. е. имеют интралингвистический характер. Именно эти особенности моделей должны определяться при помощи статистического анализа, что до сих пор фактически не имеет места; в большинстве случаев исследователи основываются либо на данных, изложенных в предшествующих работах, либо на собственных эмпирических наблюдениях. К интралингвистическим условиям относятся, далее, отстоявшиеся в языке формальные и семантические условия заполнения моделей; речь идет о закономерности сцепления непосредственно составляющих (сегментов) первичной (по другой терминологии, «производящей») основы с аффиксом при аффиксации, первичных (складываемых) основ при словосложении. Эти закономерности могут обозначаться разными терминами. В. Флейшер пишет о «внутреннем синтагматическом отношении» (syntagma-interne Beziehung) в составе сложных основ, которое он противопоставляет «внешнему синтагматическому отношению» (syntagma-externe Beziehung) композита как цельнооформленной единицы внутри словосочетания [23]. Автор данной статьи применяет (до известной степени условно) термин «внутренняя валентность» в оппозиции к «внешней валентности» слова в предложении и словосочетании [24], имея в виду установившееся в современной литературе понимание валентности как закономерности сочетания друг с другом языковых единиц одного уровня. При этом различается «формальная» и «семантическая» внутренняя валентность.

«Формальная валентность» в нашем понимании не соответствует «внутреннему структурному синтагматическому отношению», выявляемому В. Флейшером, который под этим термином фактически подразумевает «поверхностную структуру» композитов, т. е. «подчинение» у определительных и «координацию» у сочинительных композитов [25]. К параметрам «формальной» внутренней валентности относятся закономерности фонетические, морфологические, структурные (словообразовательные) и генетические. Естественно, что эти закономерности индивидуальны в каждом отдельном языке. Поскольку два первых из названных параметров на ма-

---

[21] W. Fleischer, Wortbildung..., стр. 19 и сл.

[22] С. Стати, Философские категории «возможность» и «действительность» и применение их в лингвистике, «Revue de linguistique», VI, 1961, 2.

[23] W. Fleischer, Wortbildung..., стр. 81.

[24] М. Д. Степанова, Методы..., гл. III; ее же, Теория валентности и валентный анализ (на материале современного немецкого языка). Учебное пособие, М., 1973.

[25] W. Fleischer, Wortbildung..., стр. 81.

териале немецкого языка описаны достаточно подробно [26], остановимся кратко лишь на параметрах структурном и генетическом. Структурная (словообразовательная) валентность исходит из словообразовательной формы первичных основ в составе вторичных. Этот вид валентности не подвергался еще специальному исследованию, если не считать отдельных попутных наблюдений [27]. Можно предположить (что также подтверждается наблюдением), что структурная валентность связана с фонетической и что в целом одно- и двуморфемные структуры обладают большей словообразовательной активностью по сравнению с более сложными структурами, особенно при значительной звуковой насыщенности их слогового состава. Генетические условия сочетаемости непосредственно составляющих в сложных и производных словах легко определяются наблюдением. Следует отметить различие в этом плане между сложными и аффиксальными словами. Для словосложения в данном отношении ограничений нет: возможны соединения слов как одинакового, так и различного генезиса. Ср. примеры второго типа: ***Auto**zubehör*, ***Jacke**tanzug*, *Saug**ventil***, *Gemein**büro***, ***lasur**blau*, ***trompete**ngelb* (L. Frank); *Dichter**komponist*** и т. п. (выделены заимствованные основы). В отношении аффиксальных слов имеется тенденция ограничения сочетаемости аффиксов и первичных основ только одинакового происхождения. Однако за последнее время здесь наблюдаются изменения (см. ниже).

Семантическая внутренняя валентность сложных и производных слов, как правило, характеризуется семантическим согласованием их непосредственно составляющих. Естественно, что при этом следует принимать во внимание возможную полисемию как основ, так и аффиксов с учетом их актуализирующегося значения. Так, например, существительное *Schule* обозначает как учебное заведение, так и абстрактное понятие выучки, а также научное направление, метод: в составе *Mädchen-*, *Flieger-*, *Hoch-*, *Mittelschule* при согласовании с первым компонентом актуализировано первое из названных выше значений; *Schüler* может быть понято как обучающийся в учебном заведении и как последователь какого-либо ученого, направления и т. п., причем актуализировано значение «лица», свойственное суффиксу *-er*: тот же суффикс в составе *Kühler* актуализирует, при согласовании с первичной основой *kühl*, значение неодушевленного предмета, прибора, а в составе *Seufzer* соответственно значению глагола *seufzen* абстрактное понятие и т. п. Именной префикс *un-* может выражать отрицание или усиление: то или иное значение выявляется при семантическом согласовании с теми основами, к которым он присоединяется, ср.: *Unglück*, *Unsinn*, с одной стороны, и *Unzahl*, *Ungeld* и т. п.— с другой. Особый случай семантического согласования непосредственно составляющих наблюдается у слов с образным переосмыслением целого или одного из компонентов, типа *Langfinger* «воришка» (букв. «длинный палец»); *mäuschenstill* «тихохонький» (букв. «тихий, как мышка»); *schiefgehen* «не удаваться» (букв. «идти в сторону, криво») и т. п. Такие слова обладают переосмысленной внутренней валентностью. Их следует отличать от слов с полностью затемненной мотивированностью типа *Junggeselle*, *Ohrfeige*, *höflich*, *häßlich*, *behaupten*, *gehören* и т. п., внутренняя семантическая валентность которых либо совсем неощутима, либо нерелевантна — с точки зрения семантики эти слова соотносимы с корневыми.

---

[26] М. Д. Степанова, Методы..., §§ 29, 31; M. D. Stepanowa, Die innere Valenz des Wortes und das Problem der linguistischen Wahrscheinlichkeit, сб. «Beiträge zur Valenztheorie», Halle (Saale), 1971, и др.

[27] Например: Г. А. Скакун, Отадъективные существительные современного немецкого языка и возможности заполнения их моделей. АКД, М., 1972, стр. 14—16.

Если реализация словообразовательных моделей в целом относится, как было сказано выше, к проблеме лингвистической вероятности, то экстралингвистические условия этой реализации одновременно входят в область социолингвистики, поскольку последняя «восполняет интралингвистический подход, изучая явления и процессы, которые обусловлены воздействием общества на язык»[28]. Следует учитывать различную степень сложности при изучении экстралингвистических факторов на разных уровнях, в разных явлениях языка. Как функционирование, так и возникновение лексических единиц представляет собой благоприятный материал для экстралингвистических исследований, что и находит отражение в соответствующей литературе, в частности, и на материале немецкого языка [29]. Однако обычно речь идет о словах в целом, а не о реализованных в них словообразовательных моделях. При анализе последних следует исходить из территориальной и социальной дифференциации языка; из различий функциональных стилей; из отдельных моментов внутренней валентности как функционирующих в языке, так и возникающих в нем новых лексических единиц. Тотчас следует подчеркнуть, что статический и процессуальный аспекты в данном случае тесно связаны друг с другом, как и при рассмотрении интралингвистических условий реализации моделей. Отметим также, что каждый из названных выше вопросов может служить предметом специального исследования. В рамках данной статьи преследуется цель лишь наметить их возможную постановку.

Несмотря на тенденцию к нивелированию диалектальных различий в современном немецком языке, эти различия еще существуют и находят свое выражение и в реализации, и в вариантах словообразовательных моделей. Известны «географические» условия употребления уменьшительных суффиксов существительных: в южнонемецких областях преобладают *-lein* и его варианты, ср. *Rössel*, *Messerle*, *Quasterle*, *Blättli* и т. п., в то время как *-chen* представлен в значительной мере в литературном языке [30]. Можно назвать также южнонемецкое *sich verkälten* вместо общеупотребительного *sich erkälten* и некоторые другие примеры. В значительно большей степени проявляется различие в словообразовании в национальных вариантах немецкого языка. Так, в австрийском варианте крайне распространен заимствованный субстантивный суффикс *-ist*, присоединяемый как к заимствованным, так и к немецким основам (последний случай встречается в пределах ГДР и ФРГ лишь как исключение, например, в словах *Hornist*, малоупотреб. *Blumist* и некот. др.; ср. австр. *Pensionist*, *Stipendist*, *Bohrist*, *Lagerist* и т. п.; то же касается глагольного суффикса *-ieren*, ср. *garagieren*, *paprizieren* и т. п. В целом здесь налицо некоторое отклонение от общей тенденции генетического согласования сегментов при аффиксации. Крайне частотен суффикс *-er* при обозначении лиц (*Deuter* «тот, кто объясняет») и абстрактных понятий (*Genierer* «застенчивость», с заимствованной глагольной основой); характерен глагольный суффикс *-el* (*n*) (*schnapseln*, *fischeln*) и т. п. Уменьшительные существительные используют часто суффикс *-erl*; тот же суффикс употребляется также без значения уменьшительности (*Enkerl*, *Glaserl* и т. п.) [31].

---

[28] Л. Б. Никольский, О предмете социолингвистики, ВЯ, 1974, 1, стр. 67.

[29] См. фундаментальный труд Е. В. Розен «Современные вокабулярные неологизмы. Опыт социолингвистического исследования на материале немецкого языка (ГДР и ФРГ)» (ДД, М., 1971); е е ж е, Новое в лексике немецкого языка, М., 1971.

[30] W. Fleischer, Wortbildung..., стр. 178—179.

[31] Примеры словообразовательных вариантов см. в книге А. И. Домашнева «Очерк современного немецкого языка в Австрии» (М., 1967, гл. II).

Реализация и, частично, наполнение словообразовательных моделей в зависимости от функциональных стилей вызвано двусторонней связью языковых средств — как выражения мыслей автора и как способа их передачи, стремления воздействия на адресат. Общеизвестно широкое распространение в немецком языке словосложения, чему посвящен ряд специальных работ [32]. Можно привести отдельные наблюдения в отношении его использования в зависимости от стилевых особенностей языка. Так, в художественной литературе и в разговорном языке структура их, как правило, менее сложна, чем в научной (особенно научно-технической) литературе и частично публицистике, где «слова-чудовища» (Wortungeheuer) подлежат многоступенчатому членению, ср. *Halbleiterfotobauelemente*, *Heißgaslaborelektroabschneideranlage* и т. п. [33]. В семантическом отношении художественную литературу характеризуют образные композиты с окказиональным наполнением: *frühlingsgrüne Petersiliensuppe*, *dumpfkatholische Klosterkirche*; *Nebelmeer* (Г. Гейне); *europakrank* (Ст. Цвейг); *felsensicher* (А. Зегерс); *wochenendhungrige Leute* (Г. Гауптман) и т. п. Имеются композиты данного типа, понятные только на фоне контекста, например: *Feuerfloh* в значении «молния» (Э. Штриттматер); *Nebelherr-dame* — в значении «господин, дама, появившиеся в тумане» (И. Бехер). При преобладании композитов сравнительно несложной структуры в художественной литературе используются также отдельные модели, крайне усложненные, способные передавать целые ситуации, чем достигается особый стилистический эффект. Таковы инфинитивные сращения типа *Im-Kreise-Herumspüren der beiden Kinder* (Ст. Цвейг), *dieses Mit-der-Tür-ins-Haus-Fallen* (Ст. Хейм); композиты, первый компонент которых представлен словосочетанием или предложением: *Ich wiederholte immer meinen Monsier-Menier-Satz* (И. Петерсен), *der Mann... sah Robert mit einem «Immer-mach-ich die-gleichen Dummheiten»-Ausdruck seiner schönen Augen an* (Г. Кант) и т. п. В качестве реакции против сложных структур разного типа все большее распространение получают все виды сложносокращенных и усеченных слов, проникающих сейчас в разные функциональные стили. Та же тенденция «экономии» ведет к явлению, которое В. Флейшер называет «универбацией» обозначения понятий: сложные слова могут заменять словосочетания, нередко при сокращении одного из входящих в них элементов: *startendes Kampfflugzeug* = *Senkrechtstarter*, *Konferenz am runden Tisch* = *Rundtischkonferenz* и т. п. [34].

Различие употребления словообразовательных моделей в разных функциональных стилях касается также производных слов. Естественно, что эмоционально окрашенные модели, как-то: с суффиксами *-bold*, *-ian*, с полусуффиксами и с полупрефиксами типа *-liese*, *-peter*, *-person*, *-bild*; *stock-*, *stink-* и т. п.— отсутствуют в научной прозе. Как показывают наблюдения, в научно-технической литературе редки также некоторые нейтральные аффиксы типа *-in* у существительных, *-haft* у прилагательных и некот. др.

Выше закономерности внутренней валентности производных и сложных слов были рассмотрены как атрибут интралингвистических условий реализации моделей. Эти закономерности, утвердившиеся в языке в итоге его

---

[32] М. Д. Степанова. Словосложение в современном немецком языке. ДД, М., 1959; В. М. Павлов. Субстантивное словосложение в современном немецком языке. ДД, Л., 1973, и ряд других исследований советских и зарубежных авторов.

[33] Примеры, которые можно было бы умножить, заимствованы из ст.: G. Möller, Stilpraktische Überlegungen zur Wortzusammensetzung, «Sprachpflege», 1973, 10.

[34] W. Fleischer, Tendenzen der deutschen Wortbildung, «Deutsch als Fremdsprache», 1972, 3, стр. 133—134.

длительного развития, создают «давление системы», определяющее дальнейшее развитие словаря. Особенно существенны параметры формальной валентности. Однако они не незыблемы и могут подвергаться изменениям. В истории немецкого языка, например, известны примеры изменения морфологической валентности. Так, сложные существительные первоначально не включали глагольные основы в качестве первых компонентов; затем, через ступень переосмысления именной основы, совпадающей с глагольной, произошло изменение соответствующей сочетаемости; наравне с совпадением именных и глагольных основ в композитах типа *Tanzsaal*, *Reiselust* и т. п., в качестве первых компонентов функционируют и чисто глагольные, например: *Turnstunde*, *Wanderlied*, *Siedetemperatur* и т. п. Суффикс немецких прилагательных *-bar*, ранее присоединявшийся к именным основам, сейчас встречается преимущественно при основах глаголов, придавая прилагательным, как правило, пассивное значение (*hör-*, *fühl-*, *erreichbar*); прилагательные с именными основами единичны (*frucht-*, *dienstbar*), остальные — если и встречаются — производят впечатление окказиональности (например, *jagd-*, *heubar*). Морфологическая валентность обнаруживает колебания и в настоящее время. Так, глагольные первые компоненты в сложных глаголах закономерно наличествуют только в виде именных форм, образуя определительные композиты (*bekanntmachen*, *stehenbleiben*). Однако сейчас в художественной литературе зарегистрированы единичные образования аддитивного типа с компонентами — глагольными основами: *rollrasseln* (А. Кечч), *sprudelwallen* (Доблин), *schwatzlachen* (Понтен) и некот. др. [35]. Если в настоящее время такие композиты имеют скорее статус нарушения нормы и создают определенный стилистический эффект, то, возможно, в дальнейшем они станут закономерными, т. е. потеряв специальную окраску, связанную со стилем художественной литературы, перейдут в общеупотребительный слой лексики. В. Флейшер отмечает наличие в технической прозе субстантивированных инфинитивов, а также причастий, лишенных экспрессивного оттенка (при отсутствии личных форм глаголов): *das Spritzpressen*, *Spülboren*; *preßgeschweißt*, *fließgedrückt* [36]. Изменяется, далее, тенденция генетической общности сочетающихся элементов производных (см. выше, стр. 58). Активность проявляет в этом плане суффикс *-heit*, не только в окказионализмах типа *Aufpoliertheit*, *Tristheit* (Г. Гауптман), но и в стойких единицах: *Exakt-*, *Explizit-*, *Korrekt-*, *Motiviertheit* и т. п. В. Флейшер отмечает присоединение немецких префиксов к заимствованным глаголам: *aufoktroyieren*, *verkomplizieren*, *versimplifizieren* и т. п.[37]. Реже встречается сочетание заимствованных аффиксов с немецкими основами типа *Hornist*, *Benehmität*, *hausieren*, *stolzieren*. В целом же в современном немецком языке наблюдается тенденция «интернационализации» словообразовательной техники, созвучной с ростом заимствований, что отражает усиление интернациональных связей в настоящее время. Та же тенденция проявляется в «морфематизации» элементов заимствованных слов типа *-tron* (*Robo-*, *Cellatron*); *mini-*(*Minilok*, *-straßenbahn*, *-koffer* и т. п.) [38].

Для внутренней семантической валентности характерен устойчивый характер семантического согласования между сочетающимися элементами производных и сложных слов. Нарушения этой закономерности редки и характеризуют писательские окказионализмы типа *Mondfüße* (Г. Манн), *Herbstwolkensuppe* (Э. Штриттматер) и т. п. Лишь в редких случаях такое

[35] См.: W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, Freiburg — Basel — Wien, 1969, стр. 205, 206.
[36] W. Fleischer, Wortbildung..., стр. 307.
[37] W. Fleischer, Tendenzen..., стр. 136.
[38] Примеры см.: W. Fleischer, Tendenzen..., стр. 138.

«нарушение» превращается в общую тенденцию, изменяющую статус словообразования. Так, именные сочинительные композиты, согласно утвердившейся норме, носят характер семантической аддитивности (сочинительности). Однако уже у Г. Гейне появляются композиты с антонимической связью компонентов: *dummkluges Gesicht*, *wehmütig-heitere Erinnerung* и т. п. Такие композиты получают распространение в современной художественной литературе, ср. *Unglücksglück* (А. Зегерс), *das Finster-Strahlende* (Л. Фейхтвангер) и т. п.

Совершенно иной характер имеют неологизмы с новым наполнением моделей, не нарушающим общего закона семантического согласования элементов производных и сложных слов, а отражающим экстралингвистические факторы — новые связи между явлениями и отношениями действительности. В качестве типичного примера можно назвать русское слово *луноход*. Оно не только обозначает новое средство передвижения, но, созданное по продуктивной модели сложнопроизводного слова (ср. *паро-*, *само-*, *вездеход*), стало возможным только в связи с осуществлением процесса передвижения по Луне. Исследование неологизмов современного немецкого языка выявляет ряд подобных случаев отражения во внутренней семантической валентности экстралингвистических факторов. В книге «Beiträge zur Soziolinguistik» приводится ряд примеров сочетания компонентов в составе композитов соответственно разным областям общественной, политической жизни, развитию науки и техники в ГДР. Композиты с первыми компонентами *volk(s)-* (*Volksvertretung*, *-polizei*, *-armee*, *-eigentum*, *-kontrolle*) и т. п. и *staat(s)-* (*Staatsbürger*, *-organ*, *-vertrag*, *-besuch*) и т. п. рассматриваются как «лексические средства, занимающие ведущее положение в сфере общественной коммуникации» [39]. Для области международной политики характерны: *kernwaffen-*, *atomwaffenfrei*; *Globalstrategie* и т. п.; для области народного образования: *wissenschaft-technische Revolution*, *klassenmäßige Erziehung*, *Weiterbildung*; *Qualifizierung* и т. п. Эти новообразования отражают путем внутреннего семантического согласования соответствующие отношения между реалиями. Усиливается активность отдельных словообразовательных средств, например, суффиксов действующих лиц, обозначающих, путем присоединения к соответствующим основам, положения, занятия, состояния человека: *Geheimdienstler*, *Interbrigadist*, *Radiologe*, *Kurzurlauber* и т. п. [40]. Суффикс прилагательных *-ig*, в качестве выразителя категориального значения признаковости, служит для образования неологизмов типа *zweiatomiges Molekül*, *dreistufige Rakete* и т. п. [41].

*

Подводя итог изложенному в данной статье, следует отметить следующие моменты. Вопросы моделирования в словообразовании и частично реализации моделей не представляют собой полностью новой области исследования: они рассматривались уже в ряде работ. Однако мы имели целью сконцентрировать внимание читателей на отдельных положениях, освещенных ранее лишь частично или совсем еще не затронутых. Таково, прежде всего, соотношение разных видов моделирования, их частичное переплете-

[39] «Beiträge zur Soziolinguistik», hrsg. von R. Große und A. Neubert, Halle — Saale, 1974, стр. 37.

[40] Примеры заимствованы из книги Е. В. Розен «Новое в лексике немецкого языка», стр. 20—21.

[41] F. Kempter, Adjektive mit einer Wortgruppe als Basis, «Sprachpflege», 10, 1970.

ние и специально — проблема эксплицитного семантического моделирования. Как можно заключить из рассмотрения реализации моделей, принцип моделирования в данном случае разнообразен. Так, структурно-семантические модели характеризуются разной частотностью и варьированием в зависимости от территориальной и стилевой дифференциации лексики, а их наполнение отражает различные интра- и экстралингвистические факторы. В то же время функционирование моделей указывает на дифференциацию способов выражения крупных семантических категорий (например, лица, признаковости и т. п.), а иногда выявляет и новые категории (например, в сфере общественной коммуникации), что относится к области семантического моделирования. Особо следует отметить изучение экстралингвистических факторов, объединяющих, при реализации моделей, лингвистическую вероятность с проблемами социолингвистики. Понятие моделирования в сочетании с условиями реализации моделей дает возможность судить о движении в области словообразования, о непосредственной связи друг с другом статического и процессуального планов его анализа. Как представляется, названные выше вопросы должны быть предметом изучения на конкретном материале разных языков, а также в области общей теории словообразования.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. Г. РУДИН

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ТАМИЛЬСКОГО ЯЗЫКА*

В языках индийского ареала, а также в отдельных языках за его пределами (например, в таджикском) весьма распространены сочетания глагольных форм типа «смысловой глагол, как правило, в форме деепричастия (иногда именуемой также основой, абсолютивом) + образующий глагол в форме, определяемой синтаксической функцией сочетания в целом». В качестве образующих фигурируют глаголы, выступающие также самостоятельно. В составе сочетаний указанного типа образующим глаголам, однако, не могут быть без натяжек приписаны их «обычные» лексические значения. В основном как раз этот признак и позволяет отделить эти сочетания от обычных, неспецифических сочетаний глагольных форм; синтаксические же свойства такого специализированного сочетания не выходят за рамки (т. е. не бывают шире) нормальных для глаголов данного языка, употребляемых самостоятельно (разумеется, речь идет о тождестве свойств лишь при тождестве форм самостоятельных глаголов и образующих глаголов глагольных сочетаний).

Специализированные глагольные сочетания, или СГС (будем пользоваться этим термином — за неимением лучшего незанятого для обозначения всей рассматриваемой совокупности глагольных сочетаний) функционально отличаются от соответствующих смысловых глаголов в самостоятельном употреблении весьма различным образом. Приписывая эти отличия образующим глаголам, можно сказать, что образующие глаголы имеют весьма различные функции: видо-временные, модальные и иные.

Эти замечания, пожалуй, исчерпывают то общее, что характеризует специализированные глагольные сочетания языков индийского ареала. Различия же между языками проявляются и в числе употребляемых образующих глаголов, и в их списках, и в степени слитости со смысловыми глаголами, но еще в большей степени — в перечне и характере значений, передаваемых как отдельными образующими, так и всей системой образующих глаголов в целом. Если при сопоставлении списков образующих глаголов в различных языках приравнивать друг другу глаголы со сходными неспецифическими значениями (т. е. значениями вне специализированных сочетаний), то расхождения обычно заметны даже между близкородственными языками. Так, в тамильском списке нет соответствий малаяльскому образующему *kaliyuka* «заканчиваться», а в малаялам — тамильскому *viṭ* [*u*] «покидать». Однако существенными при сопоставлении систем образующих глаголов являются их специфические значения (функции) в

* Статья подготовлена к печати Н. В. Гуровым и Г. А. Зографом.

специализированных глагольных сочетаниях, и здесь расхождения между различными, в том числе близкородственными языками, более значительны. При этом сходство неспецифических значений глаголов отнюдь не гарантирует сходства их специфических функций и, с другой стороны, в сходных специфических функциях выступают зачастую глаголы, неспецифические значения которых совершенно различны. Например, *kaḷayuka* «швырять» в малаялам как образующий функционально близок тамильскому *viṭ* [*u*] «покидать», но отличается от тамильского *pōṭ* [*u*] «бросать» (подробнее о функциях этих тамильских образующих см. ниже).

Попарное и развернутое сопоставление систем специализированных глагольных сочетаний в языках индийского (или индоиранского) ареала было бы интересной и увлекательной задачей. Однако в настоящее время для этого не созрели условия в силу недостаточной полноты и адекватности существующих описаний этих систем в подавляющем большинстве языков. Ограничиваясь в настоящей статье материалом тамильского языка, мы, однако, надеемся, что некоторые из высказанных ниже соображений могут оказаться приемлемыми и для систематизации сопоставимого материала других языков ареала.

Специализированные глагольные сочетания тамильского языка V_{sp} состоят из деепричастия смыслового глагола V_{pv} и образующего глагола V_f, т. е. $V_{sp} = V_{pv} + V_f$. Здесь V_f является носителем всех грамматических категорий сочетания в целом, связанных с его синтаксической субординацией (т. е. определяющих «верхние» синтаксические связи сочетания), а также согласовательных категорий (выступая в функции сказуемого предложения, тамильский глагол согласуется с подлежащим в роде, числе и лице). Следовательно, V_f в составе сочетания способен принимать все формы парадигмы тамильского глагола, а смысловой глагол сохраняет при этом неизменную форму деепричастия.

Специфика этих сочетаний определяется не смысловыми, а образующими глаголами, список которых является закрытым. Вследствие этого наш анализ строится на переборе образующих глаголов и изучении функции каждого из них и характера связи его со смысловыми глаголами. Иными словами, будем рассматривать свойства и функционирование конкретных образующих, отвлекаясь от конкретности смысловых глаголов, причем в приводимых примерах специализированых сочетаний конкретный смысловой глагол будет считаться (кроме специально оговоренных случаев) представителем неограниченного списка глаголов, которые могут быть подставлены на его место.

С самого начала следует подчеркнуть, что сочетания $V_{pv} + V_f$ в тамильском языке распадаются на несколько крупных разрядов, противопоставленных друг другу а) типом грамматической функции и/или б) степенью ограничений на сочетаемость со смысловыми глаголами.

С этой разнотипностью специализированных глагольных сочетаний в основном и связана «мучительность» вопроса об отнесении этих сочетаний к области словообразования, синтаксиса или морфологии в различных языках. Материал тамильского языка диктует отказ от однозначного решения этого вопроса для всей системы в целом.

Прежде всего целесообразно выделить те из сочетаний рассматриваемого вида, которые имеют закрепленное лексическое значение, обычно не совпадающее с лексическим значением первого компонента, причем это значение не выводимо (полностью) из сложения с основным лексическим или специфическим значением второго компонента (т. е. «противоречит ожидаемому»). Таковыми, например, являются следующие:

koṇṭāṭ [*u*] «праздновать» < *koḷ* «брать» (koṇṭ [u] «взяв» + *āṭ* [*u*] «плясать»);

kāttiru «ждать» < *kā* «хранить» + *iru* «быть»;
kaṇṭupiṭi «открыть; сделать открытие» < *kaṇ* «[у] видеть» + *piṭi* «хватать»;
kāṭṭik koṭu «выдать; предать» < *kāṭṭ* [*u*] «показывать» + *koṭu* «давать»;
collik koṭu «учить; преподавать» < *col* «говорить» + *koṭu* «давать»;
paṭittuk koṭu «учить; преподавать» < *paṭi* «читать» + *koṭu* «давать»;
koṇṭu vā «приносить» < *koḷ* «брать» + *vā* «приходить»;
koṇṭu pō «уносить» < *koḷ* «брать» + *pō* «уходить»;
vittuk koṭu «уступать» < *viṭ* [*u*] «покидать» + *koṭu* «давать».

Характерно, что глаголы, выступающие в качестве вторых компонентов приведенных выше сочетаний, либо не фигурируют в качестве V_f других разрядов специализированных глагольных сочетаний (см. ниже), либо не придают им значений, характерных для других разрядов таких сочетаний. Идиоматичность этих сочетаний подчеркивается их устойчивостью — отсутствием свободы сочетаемости компонентов. Они не создаются в речи, а извлекаются из лексической памяти. Если учесть при этом тот факт, что компоненты этих сочетаний не обладают отделимостью (не могут быть разделены иными словоформами, в том числе наиболее подвижными в тамильском — частицами, не допускают нормально паузы между собой) и имеют единое словесное ударение (приходящееся на начало первого компонента), то становится ясным, что нет препятствий к признанию каждого из этих конкретных сочетаний единым словом — сложным глаголом.

Другим структурным типам сложных глаголов, например, происходящим из сочетания инфинитива с глаголом (ср. *tōṟkaṭi* «наносить поражение» < *tōṟka* «потерпеть поражение» + *aṭi* «бить»), существительного с глаголом (ср. *accaṭi* «печатать» < *acc* [*u*] «печать; печатание» + *aṭi* «бить»), их не противопоставляет ничто, кроме этимологии, деривационной структуры, и наряду с последними они должны помещаться в словаре.

К рассматриваемой группе сложных слов должен быть отнесен и глагол *eḻuntiru* «вставать» < *eḻ* [*u*] «вставать; подниматься» + *iru* «быть», особенностью которого является практически полное совпадение его значения со значением первого компонента. Однако он не обладает грамматическим значением перфекта, «ожидаемым» от сочетания деепричастия с *iru*, и, следовательно, обладает идиоматичностью (различие сфер употребления этих двух глаголов в основном определяется стилистическими соображениями: *eḻ* [*u*] более высокого стиля, чем *eḻuntiru*).

То, что мы имеем здесь дело с едиными словами, косвенно подтверждается судьбой некоторых из них в разговорном (т. е. диахронически более позднем) языке индийских тамилов: *koṇṭuvā* > *koṇṭā*, *koṇā*; *eḻuntiru* > > *ēntiri*. Происшедшие фонематические сдвиги (причем не носящие регулярного характера «фонетического закона», а индивидуальные) разрушили первоначальный фонематический облик одного или обоих компонентов, сделав очевидной невозможность усматривать в этих лексических единицах по две словоформы.

Из вышеизложенного следует, между прочим, нежелательность применения терминов «смысловой глагол» и «образующий глагол» (или иных, равнозначных им) к компонентам рассматриваемой группы сложных глаголов, как и к сложным глаголам вообще.

Среди сложных глаголов, как и вообще среди сложных слов, могут быть выделены группы по степени сохранности значений исходных для их образования свободных сочетаний, однако здесь нас этот вопрос, как и другие вопросы деривации и этимологии, интересовать не будет. Краткое рассмотрение сложных глаголов было необходимо именно для того, чтобы вывести их из поля зрения, прежде чем обратиться к вопросам собственно грамматическим.

Общей чертой остальных глагольных сочетаний рассматриваемого вида, является, как указывалось выше, их грамматичность, т. е. более или менее полная свобода образования (возможность их производства в речи на базе неограниченного в принципе числа смысловых глаголов) и предсказуемость их функций (значений). Модель каждого из таких сочетаний включает в себя абстрактный знак «деепричастие (смыслового) глагола» V_{pv} (или знак деепричастия крупного синтаксического подкласса глаголов, например, «деепричастие прямопереходного глагола» V_{pv}^{dir}) и конкретный знак образующего глагола (например, *viṭ* [*u*]).

Эти грамматические специализированные глагольные сочетания распадаются на две большие группы в соответствии с различием типа функций (значений), придаваемых глаголу их образующими. Назовем их временно группами СГС «А» и «Б».

Образующие глаголы группы «А» либо видоизменяют относительный временной план процесса (т. е. действия или состояния), выражаемого смысловым глаголом, либо указывают на характер его протекания, либо, наконец, изменяют актантную структуру глагольной конструкции (в рамках «сильного управления»). Сюда входят следующие СГС:

(1) V_{pv} + *iru*=/*uḷ*=[1]	перфект I;
(2) V_{pv} + *āyirr* [*u*] /*ācc* [*u*]	перфект II (перфектный комплетив);
(3) V_{pv} + *koṇṭiru*=(*koṇ ṭ*[*u*] + *iru*=)/*koḷ*-	дуратив;
(4) V_{pv} + *vā*-	прогрессив (ретроспективный);
(5) V_{pv} + *pō*-	прогрессив (проспективный);
(6) V_{pv}^{dir} + *koḷ*-	взаимно-возвратный залог;
(7) $V_{pv}^{dir\ lim}$ + *iru*=/*uḷ*-	объектный результатив.

(1) СГС с образующим *iru*= «быть» образуют перфект. Принимая формы трех основных (абсолютных) времен тамильского языка, глагол *iru*= образует перфект прошедшего, настоящего и будущего времени. Например, *vantirukkirān* «(он) пришел» (и находится здесь) — перфект настоящего времени глагола *vā*- «приходить» (V_{pv} *vant* [*u*]).

Употребительны также причастия перфекта всех трех времен и все другие неличные формы перфекта, получаемые путем соответствующего изменения формы образующего глагола, за исключением деепричастия типа **vantirunt*[*u*].

Вариант (стилистический) парадигматических сочетаний «перфект настоящего времени» и «причастие перфекта» образуется дефективным глаголом *uḷ*- «быть» (причастие *uḷḷa*): ср. *vantuḷḷān*, *vantuḷḷa*.

2) Образующий *āyirr*[*u*] — словоформа 3-го лица прош. времени ср. рода ед. числа глагола *ā*-/*āk*[*u*]- «становиться»— образует перфектный комплетив (перфект II), имеющий значение перфекта настоящего времени с оттенком подчеркнутой полноты, завершенности действия: *avaṉ cāppiṭṭāyirru* «Он уже поел» (и сыт, не нуждается больше в еде).

Данное сочетание — типичный пример заимствования литературным тамильским разговорной синтаксической конструкции, причем это заимствование сопровождается соответствующей морфолого-орфоэпической коррекцией. Словоформа *ācc* [*u*] (также *ācc* [*i*], *āccut* [*u*]), соответствующая

[1] Знаком «дефис» отмечены основы «слабых» глаголов тамильского языка (например, *uḷ*-), знаком равенства — основы «сильных» глаголов (например, *iru*=). Перевод образующих с необходимыми пояснениями дан при разборе соответствующих СГС.

в разговорных диалектах литературной *āyirr* [*u*], начинает проникать и в письменный литературный язык наименее формального стиля и еще более — в устный литературный язык. Таким образом, словосочетания типа вышеприведенного *cāppiṭṭāyirru* ни в один из периодов развития тамильского языка не существовали (в данном фонематическом облике) в разговорном языке.

(3) Образующий *koṇṭiru* = происходит из сочетания двух глаголов — *koḷ-* «брать» (в форме деепричастия *koṇṭ*[*u*]) + *iru* = «быть», однако сочтено целесообразным трактовать здесь это сочетание как единый образующий. Такое решение принято вследствие того, что, хотя оба глагола, составляющих данное сочетание, порознь выступают в качестве образующих СГС, ни одна из их функций (значений) не сохраняется ни в явном, ни в скрытом виде в данном сочетании. Образующий *koṇṭir* [*u*] отчетливо монофункционален, причем образуемое им парадигматическое СГС — дуратива (относительного времени, означающего протекание действия, как линейного, через момент или ограниченный промежуток, соответствующие абсолютному времени — прошедшему, настоящему или будущему) — занимает строго определенное и необходимое место во временной системе тамильского глагола. Пример: *paṭittuk koṇṭiruntāṉ* «читал» (в определенный момент, а также до и после него).

Подобно перфекту, дуратив обладает также всеми неличными формами глагольной парадигмы, причем в форме «деепричастие дуратива» образующий глагол выступает в облике *koṇṭē* деепричастие от *koḷ-* + частица (в свободных сочетаниях усилительная) *ē*. Именно частица *ē*, вошедшая в состав этой иррегулярной формы в качестве аффикса, отличает деепричастие дуратива от деепричастий взаимно-возвратных и эготивных СГС (см. 6 и 16). Ср.: *marattil ēṟik koṇṭē* «взбираясь на дерево» (деепричастие дуратива) и *marattil ēṟik koṇṭu* «взобравшись на дерево» (деепричастие эготивного СГС) от *ēṟ*[*u*] «взбираться».

(4—5) Образующие *vā-* «приходить» и *pō-* «уходить» в сочетании с деепричастием главного глагола создают прогрессив — парадигматическое СГС со значением длительно и непрерывно развивающегося или продолжающегося без затухания действия. При этом образующий *vā-* означает, что действие «приходит» из прошлого, достигая момента, соответствующего основному временному плану — плану прошедшего, настоящего или будущего времени, указываемому формой времени этого образующего, — и проходя через этот момент. При этом момент начала действия может не указываться и не существовать в сознании: *avaṉ tamiḻ paṭittu vantāṉ* «он (все время) изучал тамильский язык» или «он продолжал изучать тамильский», или «он изучал и изучал тамильский», или «он все больше и больше учил тамильский».

Значение образующего *pō-* отличается тем, что действие мыслится как направленное в будущее по отношению к соответствующему временному плану: *avaṉ vēlai ceytu pōṉāṉ* «он стал работать дальше; он продолжил работу».

Основные отличия значения прогрессива от значения дуратива заключается в следующем: а) наличествует оттенок развития, расширения масштабов самого действия и/или накопления его результатов; б) действие мыслится как достаточно продолжительное, масштабное; в) время, в течение которого продолжается действие, хотя и захватывает точку соответствующего временного плана, но мыслится как расположенное асимметрично по отношению к этой точке.

В то же время значения дуратива и прогрессива не являются несовместимыми, что отражается в факте сочетаемости соответствующих образующих в сложных СГС (см. табл. 1).

Таблица 1[1]

Первый образующий сложного СГС		Второй образующий сложного СГС														
		(1) *iru/ul=*	(2) *ā*	(3) *konṭiru*	(4) *vā*	(5, 12) *pō*	(8) *pār*	(9) *kaṭṭu*	(10) *vai*	(11) *pōṭu*	(13) *viṭu*	(14—15) *tīr=/tīr-*	(16) *ko*	(17—18) *tolai=/tolai-*	(19) *aruḷ*	(20) *makiḷ*
(1)	*iru*	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
(2)	*āyirr/u/ (ā-)*	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	+	—	Ø	+	Ø	Ø
(3)	*konṭiru*	Ø	Ø	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
(4)	*vā*	+	+	+	Ø	—	—	+	—	—	+	(+)	—	(+)	+	+
(5, 12)	*pō*	+	+	(+)	—	Ø	—	—	(+)	(+)	+	+	(+)	+	+	+
(8)	*pār*	+	+	+	+	—	Ø	—	—	+	+	+	(+)	+	(+)	+
(9)	*kaṭṭu*	+	(+)	+	(+)	—	+	Ø	(+)	(+)	+	+	+	+	+	+
(10)	*vai*	+	+	+	(+)	—	—	(+)	Ø	(+)	+	(+)	+	(+)	+	+
(11)	*pōṭu*	+	+	+	+	—	—	—	(+)	Ø	+	+	+	+	(+)	+
(13)	*viṭu*	+	—	—	—	(+)	—	—	—	—	Ø	—	—	—	—	+
(14—15)	*tīr=/tīr-*	(+)	+	+	(+)	—	—	—	—	(+)	+	Ø	—	+	(+)	+
(16)	*koḷ*	+	+	Ø	(+)	(+)	—	+	—	—	+	(+)	Ø	(+)	+	+
(17—18)	*tolai=/tolai-*	+	+	(+)	(+)	—	—	—	—	(+)	+	+	+	Ø	—	+
(19)	*aruḷ*	+	(+)	(+)	+	—	—	—	(+)	—	(+)	—	+	(+)	Ø	+
(20)	*makiḷ*	+	(+)	(+)	+	+	—	—	—	—	+	—	—	(+)	—	Ø

[1] / означает недопустимость сочетания, знак минус — отсутствие сочетания, знак плюс — наличие сочетания (плюс в скобках — его относительную редкость)

Следует учесть, что *pō-* выступает и как образующий одного из модально-модифицирующих СГС (см. 12).

(6) Образующий *koḷ-* «брать», присоединяясь к деепричастию переходных, в том числе каузативных (лексический каузатив) глаголов, образует СГС со значением, отличающимся от значения главного глагола, причем здесь возможны два случая.

1. СГС с прямопереходным главным глаголом V_{pv}^{dir} и его подлежащее имеют форму мн. числа. Агенс, соответствующий подлежащему, выражает расчлененное множество «деятелей»— лиц, предметов. Удобно поэтому представлять себе агенс как состоящий из соответствующего множества членов. Значение СГС заключается в том, что каждый член агенса совершает действие, означаемое главным глаголом, таким образом, что объектом этого действия является другой или другие члены агенса (и, следовательно, сам одновременно является объектом того же действия со стороны другого или других членов агенса). Иными словами, все члены агенса (и только они) являются одновременно членами объекта [2]. Ср.: *avarkaḷ... aṭittārkaḷ* «они побили...» и *avarkaḷ aṭittuk koṇṭārkaḷ* «они побили друг друга; они подрались».

Данное СГС не является в тамильском языке единственным средством выражения «взаимного действия» и даже не очень распространено. Более обычно лексико-фразеологическое выражение взаимнопереходного действия — использование в качестве прямого дополнения оборотов *oruvarai oruvar*, *oṉṟai oṉṟu* «друг друга», реже наречия *parasparam* «взаимно; друг друга». Если учесть при этом многозначность глагола *koḷ-* в качестве образующего СГС (см. также 3 и 16), то становится понятным, почему даже при наличии рассматриваемого СГС в предложении зачастую одновременно используются и вышеуказанные лексико-фразеологические единицы: *avarkaḷ parasparam* (*oruvarai oruvar*) *aṭittuk koṇṭārkaḷ* «они подрались».

Тем не менее, налицо сдвиг в синтаксической валентности СГС по сравнению с исходным глаголом — потеря прямопереходности, способности подчинять прямые дополнения за исключением специализированных (со значением «друг друга»).

В то же время следует обратить внимание на тот факт, что лексическое значение глагола, строго говоря, остается тем же. Происходит лишь умножение ситуации, выражаемой глаголом, плюс перекрестное сложение элементов результирующих однородных ситуаций — агенсов и объектов.

2. СГС передает то же значение, что и исходный прямопереходный глагол, однако объектом обозначаемого действия на семантическом уровне становится сам агенс, выраженный подлежащим. Из синтаксической конструкции соответственно исключается прямое дополнение. Ср.: *avaṉ... kaḻuviṉāṉ* «он вымыл...» и *avaṉ kaḻuvik koṇṭāṉ* «он умылся».

Рассмотренные здесь залоговые СГС с образующим *koḷ-* следует строго отграничивать от модального СГС с тем же образующим (см. 16).

(7) От СГС перфекта I следует отличать омонимичное ему СГС объектного результатива, образуемого от группы прямопереходных глаголов, относящихся к семантическому разряду результативных [3]. В конструкции с этим СГС агенс не выражен, а объект выражен подлежащим. Значение СГС — состояние объекта, являющееся необходимым результатом («пределом») процесса, знаком которого служит главный глагол. В дан-

[2] Если члены агенса обозначают предметы (лица) недостаточно однородные, чтобы быть обозначенными одним именем, то агенс выражается несколькими соподчиненными (т. е. однородными или «сочиненными») подлежащими.

[3] Подробнее см.: С. Г. Рудин, Залоги в современном тамильском языке, сб. «Типология пассивных конструкций», Л., 1974.

ной конструкции возможны все три абсолютных времени, однако неличные формы СГС объектного результатива невозможны. Ср.: *katavu mūṭi iruntatu* «дверь была закрыта» и *katavu mūṭi irukkiṟatu* (*u ḷḷatu*) «дверь закрыта».

Субъектный результатив, образуемый непереходными предельными глаголами *uṭkār-* «садиться», *paṭu* = «ложиться» и т. п. (*uṭkarntiruntāṉ* «сидел», *paṭuttirukkiṟāṉ* «лежит» и т. п.), не образующий, в отличие от объектного результатива, особой конструкции, отличной от перфектной (прочих непереходных глаголов), объединяется в этой работе с СГС перфекта и отдельно не рассматривается.

Образующие группы «Б» либо определенным образом изменяют референтную соотнесенность глагола (если бы не свобода их дистрибуции по отношению к смысловым глаголам и не регулярность сдвига значения — предсказуемость результирующего значения СГС, то можно было бы говорить об изменении лексического значения смыслового глагола), либо привносят то или иное модальное значение, связанное с оценкой означаемого процесса автором речи.

В эту группу входят следующие СГС:

(8) V_{pv} + *pār* =	тентативное
(9) V_{pv} + *kāṭṭ* [*u*]-	демонстративное
(10) V_{pv}^{dir} + *vai* =	фиксативное
(11) V_{pv}^{dir} + *pōṭ*[*u*]-	ирретрибутивное
(12) V_{pv}^{int} + *pō-*	ирретрибутивное, ремотивное
(13) V_{pv} + *viṭ*[*u*]-(*iṭu-*)	дефинитивное
(14) V_{pv}^{dir} + *tīr* =	конклюзивное
(15) V_{pv}^{dir} + *tīr-*	конклюзивное
(16) V_{pv} + *koḷ-*	эготивное
(17) V_{pv}^{dir} + *tolai* =	пейоративное
(18) V_{pv}^{dir} + *tolai-*	пейоративное
(19) V_{pv} + *arul-*	фаворативное
(20) V_{pv} + *makiḻ-*	беативное

(8) Образующий *pār*= «(по) смотреть» привносит значение «попробовать; попытаться»: *eṭuttup pārttāṉ* «попытался (попробовал) поднять».

(9) Образующий *kāṭṭ* [*u*]- «показывать» привносит значение «показать» (как выполнять действие, называемое главным глаголом), «учить» (делать что-л. путем показа): *eḻutik kāṭṭiṉāṉ* «показал, как писать; научил писать» (например, какое-нибудь слово).

Образующий последнего СГС изменяет семантическую соотнесенность глагола (иначе — обозначаемую им ситуацию), причем не только конкретно-качественно, но и структурно-количественно: новым партиципантом ситуации становится адресат действия, а в синтаксической конструкции появляется, соответственно, косвенное дополнение (адресата). Это расширение глагольной валентности является, однако, лишь результатом сложения (теоретико-множественного) валентностей обоих глаголов, так как *kāṭṭ*[*u*] сильно управляет косвенным дополнением (адресата); и если бы данное СГС рассматривалось как свободное синтаксическое словосочетание, то косвенное дополнение принадлежало бы только глаголу *kāṭṭ* [*u*], а прямое дополнение могло бы быть у них и общим.

Образующий *pār*= видоизменяет семантическую соотнесенность, но не синтаксическую соотнесенность главного глагола (также в результате сложения валентностей, так как валентность основного глагола либо равна валентности двухвалентного *pār*=, либо больше ее).

Эти СГС не могут, впрочем, трактоваться как свободные неспециализированные глагольные сочетания ввиду того, что семантический результат присоединения их образующих к деепричастиям, при всей регулярности, не выводим из семантики компонентов и грамматической семантики сочетания «деепричастие + глагол» (*eṭuttup pārttāṉ* как СГС не значит «поднял, а потом посмотрел», а *eḷutik kāṭṭiṉāṉ* не значит «написал, а потом показал»). Дополнительным доказательством специализации этих сочетаний является то, что постановка прямого и косвенного дополнений (как и слабоуправляемых членов предложения) между их компонентами невозможна.

(10) Образующий *vai*= «класть» выступает в СГС со значением «закреплять, сохранять» результат действия, выраженного главным глаголом, который всегда бывает прямопереходным. Дополнительно ему обычно бывает свойственно значение действия для себя, в свою пользу, заинтересованности: *eḷuti vaittāṉ* «записал» (например, в свой блокнот), *vaittu vaittāṉ* «отложил» (впрок, про запас; здесь главный глагол —«тот же» *vai*= «класть»).

(11) Образующий *pōṭ*[*u*] также употребляемый только при переходных глаголах, придает их лексическому значению оттенок окончательности, бесповоротности результата действия, обычно при этом отрицательного, нежелательного, часто разрушительного, катастрофического характера. Если даже указанный характер действия и его результата может иногда считаться характеристикой объективных черт этого действия, все же в СГС этого типа всегда присутствует элемент субъективной оценки: *aḷittup pōṭṭāṉ* «разрушил; погубил»; *coḷḷip pōṭṭāṉ* «сказанул, брякнул, ляпнул».

(12) Образующий *pō-* «уходить» присоединяется к непереходным глаголам движения и к некоторым — также непереходным — изменения состояния, сообщая им или подчеркивая в них значение удаления (в пространстве или времени), а также значение бесповоротности, окончательности результата процесса: *ōṭip pōṉāṉ* «убежал»; *aḷintu pōṉāṉ* «погиб».

Следует отметить, что трудно отделить данные СГС в значении удаления во времени от СГС проспективного прогрессива (см. 5). Например, *niṭittup pō* «тянуться; длиться» по значению, скорее, прогрессив, а *kaḷintu po* «проходить; протекать» (безвозвратно) семантически ближе к рассматриваемому здесь ирретрибутивному СГС, но это различие, видимо, определяется не в последнюю очередь лексическим значением главных глаголов. В то же время в определенных контекстах картина может оказаться и обратной.

Что касается объективного и оценочного (субъективного) элементов в значении рассматриваемого СГС, то здесь остаются в основном справедливыми замечания, сделанные выше в отношении СГС с *pōṭ*[*u*].

Из актуальных СГС с ирретрибутивным значением можно выделить *cettup pō* «умирать». Глагол *cā-* «умирать» (деепричастие *cett*[*u*]) в современном языке почти не употребляется вне этого сочетания, что придает последнему лексикализированный характер и сближает со сложными глаголами.

(13) Частотность образующего *viṭ*[*u*] превышает частотность любого другого образующего, причем повышается по мере движения от высокого стиля к низкому и далее — к разговорным формам тамильского языка. В то же время значение его труднее всего уловимо. Следует, однако, отметить, что *viṭ*[*u*] налагает видовое ограничение на значение форм простого прошедшего и будущего времени, вообще неопределенных в видовом плане, так что они выражают лишь законченный однократный процесс. Так, если *pōṉāṉ* (прош.) значит «пошел» или «шел», то *pōy viṭṭāṉ* — только «пошел». Можно, кроме того, усматривать в значении этого образующего модальный оттенок определенности, уверенности (вследствие чего

данное СГС мы вслед за П. Кодандараманом[4] именуем дефинитивным). СГС с *viṭ*[*u*] обладает всеми формами глагольной парадигмы. Характерно, что он может следовать не только за деепричастиями любых неслужебных глаголов, но и всех образующих, кроме образующего перфект *ir* [*u*] = (которому он может, однако, предшествовать) и дуративного *koṇṭiru* =. Формы актуального дефинитивного СГС не отличаются какими-либо синтаксическими свойствами от форм основного глагола, от которого оно образовано.

В разговорном тамильском первый слог глагола *viṭ*[*u*]- выпадает (ср. *vant* [*uṭ*] *tā* = *vantu viṭṭāṉ*), так что этот глагол обращается в аффикс (варианты этого аффикса -*ṭ*[*u*]- — *piṭ*[*u*]- и принадлежащий западному диалекту *pūṭ*[*u*]- происходят, по-видимому, из сочетания образующих глаголов *pōy viṭ*[*u*]). Именно с этим фактом следует связывать довольно широкое использование в средневековой и современной поэзии, а также в псевдоклассическом стиле современной прозы глагола *iṭ*[*u*]- (независимое значение —«ставить; класть») в тех же случаях и приблизительно в тех же масштабах, в каких в иных стилях современного языка используется *viṭ*[*u*]- (-*ṭ*[*u*]-). При этом в текстах, где используется *iṭ*[*u*] =, как правило, не используется *viṭ* [*u*] =. Представляется несомненным, что здесь мы имеем дело с отражением в литературном языке развития разговорной формы (*viṭ*[*u*] в -*ṭ*[*u*]-), т. е. фактически с заимствованием из разговорного языка, причем необходимая при этом «коррекция» приняла форму привлечения глагола *iṭ*[*u*] в качестве представителя аффикса -*ṭ*[*u*]- (всегда следует за гласными *u* или *i*, часто, впрочем, подвергающимися редукции), происходящего из другого глагола — *viṭ*[*u*]-.

(14—15) Конклюзивные (терминативные) СГС образуются сильным образующим *tīr* = при прямопереходных и слабым образующим *tīr*- при непереходных и косвеннопереходных глаголах соответственно. Значение *tīr* = в независимом употреблении —«завершать; разрешать, решать, улаживать», а *tīr*- —«прекращаться; иссякать; решиться, разрешиться, быть улаженным»[5]. Значение их в СГС — окончательное завершение действия с оттенком «избавления», освобождения от необходимости дальнейшего его совершения: *puttakam paṭittut tīrttāṉ* «прочел (наконец) книгу»; *tērvil tēṟit tīrntāṉ* «сдал экзамен».

(16) Образующий эготивного СГС *koḷ*-: а) передает значение действия для себя, заинтересованности в результатах действия; б) зачастую также имеет (само) уничижительный оттенок «позволить себе», «взять на себя смелость»; в) при обращении к другому лицу, наоборот, оттенок почтительной вежливости («соблаговолите...»); г) при переходных глаголах может придавать их значению оттенок приближения объекта к субъекту действия. Ср.: *vāṅkik koṇṭāṉ* «купил»; *taṅkaḷukkup puttakam aṉuppik koḷkiṟēṉ* «(почтительно) посылаю Вам книгу»; *uṭkārntu koḷḷuṅkaḷ* «садитесь, пожалуйста; соблаговолите сесть»; *kal eṭuttuk koṇṭāṉ* «взял (поднял) камень» (*eṭu* = «поднимать»).

(17—18) Образующие пейоративных СГС передают отрицательное отношение к выражаемому главным глаголом процессу и/или к субъекту этого процесса, выражаемому подлежащим. В самостоятельном употреблении сильный прямопереходный глагол *tolai* = значит «губить, уничто-

---

[4] P. Kothandaraman, Contrastive analysis of Tamil and Telugu (unpublished Ph. D. Thesis submitted to Annamalai University, Annamalainagar, 1969).

[5] В литературе встречаются случаи использования слабого образующего глагола *tīr*- и при переходных V; однако д-р Ганешсундарам отрицает грамматичность подобных сочетаний. Видимо, существуют идиолектные разновидности тамильского языка, допускающие употребление *tīr*- в качестве обобщенного конклюзивного образующего с глаголами любой качественной валентности, в том числе и с прямопереходными.

жать», а также «удалять, устранять», а слабый непереходный *tolai-* —«гибнуть, пропадать», а также «уходить, удаляться». Оттенки передаваемого таким путем отрицательного отношения — это презрение, ненависть, раздражение, озлобление. Все высказывание приобретает довольно грубую, «ругательную» окраску, так что в адекватном переводе могут быть использованы, в частности, такие выражения, как «ко всем чертям» и т. п. Деепричастия и условные деепричастия этих СГС неупотребительны. Примеры: *pōyt tolaintan* «ушел, черт бы его побрал; убрался (к черту); укатил (слава богу)»; *eḻutit tolaikka vēṇṭum* «пусть пишет (пишут), черт с ним (с ними)».

(19) Фаворативное СГС, образующий которого *aruḷ-* (косвенно- и прямопереходный) имеет значение «оказывать милость», а также «даровать, жаловать», близко к свободным неспециализированным подчинительным сочетаниям глаголов. Специализированное значение его образующего, поскольку можно говорить о таковом, прямо следует из его неспециализированных значений: значение его в СГС заключается в том, что действие субъекта, называемое главным глаголом, рассматривается автором речи как акт милосердия, снисхождения (по отношению к автору речи и/или другим лицам), например, *avar vantaruḷinār* «он соблаговолил прийти; он пожаловал».

Качественная и количественная валентность СГС при этом равна валентности главного глагола, как бы поглощающей самостоятельную валентность образующего глагола,— в этом, а также в совпадении временных планов обоих глаголов в едином временном плане СГС, и заключается возможность, пусть маргинальная, включения данного сочетания в число СГС. В качестве неспециализированного это сочетание привело бы к такому толкованию вышеприведенного предложения: «Он пришел и оказал милость...» (кому?— конструкция требовала бы косвенного дополнения).

(20) Подобный же характер, но еще менее специализированный, носит беативное сочетание V_{pv} + *makiḻ-*. Используя образующий *makiḻ-* «радоваться», автор речи оценивает действие (состояние) субъекта как приносящее ему радость, удовольствие или как благополучное, «благоденственное» для этого субъекта: *avan manaivi makkaḷuṭan vāḻntu makiḻntān* «Он (в радости и довольстве) жил с женой и детьми»; *paṭaṅkaḷaip pārttu makiḻuṅkaḷ* «посмотрите картинки; полюбуйтесь картинками».

Как видно из второго примера, данное СГС иногда допускает — с небольшой натяжкой — толкование второго глагола как обозначающего процесс, отдельный (хотя и зависимый) и по времени следующий за процессом, знаком которого является первый глагол (сначала «посмотреть», потом «обрадоваться»). И лишь необходимость этой небольшой «натяжки» (т. е. диахронизации), а также несколько стертый, неконкретный характер беативного значения глагола *makiḻ-* в этом сочетании, «непомерная» употребительность его по сравнению с разумно ожидаемой от самостоятельного глагола со значением «радоваться» плюс невозможность вторжения иных членов предложения между составляющими данного сочетания делает возможной трактовку его как СГС.

Дальнейшую ступень сближения с неспециализированными свободными синтаксическими сочетаниями являет собой сочетание деепричастий переходных глаголов с глаголом *muṭi=* «кончать», имеющее значение «оканчивать действие, называемое первым компонентом сочетания». С СГС это сочетание сближается тем, что глагол *muṭi=* управляет формой деепричастия, имеет общее с ним прямое дополнение (и никаких «своих» подчиненных членов предложения) и в то же время означает не последующее независимое действие, а завершение того же действия: *vēlaiyaic ceytu muṭittān* «закончил работу, выполнил работу» (букв. «работу сделав-закончил»).

Однако раздельное восприятие действий, выраженных двумя глаголами, хотя и стертое в переводе приведенного примера, достаточно в духе тамильского языка, вообще склонного расчленять описание даже единого действия на его элементы и передавать его соответственно цепочкой глаголов в форме деепричастия (кроме последнего) [6]. Это обстоятельство, несомненно являющееся источником образования системы СГС и сложных глаголов, в то же время делает зыбкой почву для включения рассматриваемого здесь сочетания в число СГС. Действительно, выражение идеи «он сделал работу и (тем самым) закончил (ее)» или иначе «он закончил работу, сделав (ее)» при помощи сочетания деепричастия глагола *сеу-* «делать» с глаголом *muṭi=* «заканчивать» естественно для тамильского языка. Изложенное побуждает провести границу между СГС и неспециализированными свободными сочетаниями «выше» сочетания V_{pv} + *muṭi=*, т. е. не включать его в число СГС.

Из вышеизложенного анализа вытекает целесообразность следующей классификации СГС тамильского языка типа $V_{pv} + V_f$:

СГС($V_{pv} + V_f$)	I. Лексикализированные (= сложные глаголы) II. Грамматические
II. Грамматические СГС	А. Парадигматические (аналитические формы и суперформы) Б. Непарадигматические (составные глаголы)
А. Парадигматические (аналитические формы)	1. Видо-временные (1—3) 2. Видовые (4, 5) 3. Залоговые (6, 7)
Б. Непарадигматические (составные глаголы)	1. Модифицирующие (8, 9) 2. Модально-модифицирующие (10—15) 3. Модальные (16—20)

Многие образующие СГС способны сцепляться попарно, причем первый из них имеет форму деепричастия. В таких сложных СГС сохраняются значения (функции), привносимые обоими V_f. Попарная сочетаемость образующих показана в табл. 1 [7].

Изучение таблицы позволяет сделать некоторые общие выводы.

а) Образующие глаголы не сочетаются сами с собой (однако образующие *viṭ*[*u*]- и *iru=* могут оформлять СГС с глаголами *viṭ*[*u*]- «бросать, покидать» и *iru=* «быть» в качестве г л а в н ы х глаголов).

б) Видо-временные образующие (1), (2), (3) не сочетаются друг с другом и крайне редко следуют за другими образующими. Возможны, однако, (2) + (13) *āy viṭ*[*u*]-(в форме *āy viṭṭat*[*u*]) без заметного изменения значения по сравнению с (2) *āyirr* [*u*]-; (2) + (17—18) — перфектный комплектив с пейоративным оттенком и (3) + (4) *koṇṭiruntu vā* — прогрессив-дуратив, выражающий устойчиво развивающееся или длящееся и непрерывное действие: *tāṅkik koṇṭiruntu vantān* «(с тех пор) все спал и спал; и пошел себе спать да спать».

в) С другой стороны, эти же глаголы способны предшествовать почти всем прочим образующим, что вполне естественно, поскольку обязательное в определенных контекстуальных и синтаксических условиях выражение в тамильском соответствующих значений относительного времени не вступает обычно в противоречие с теми модификациями значения, которые выражаются иными, чем временные, образующими глаголами.

[6] Эту черту тамильского и других языков индийского ареала уместно связать с отсутствием префиксации, вследствие чего мы здесь не находим богатых гнезд родственных глаголов, передающих различные вариации одного и того же процесса.

[7] Таблица выверена с помощью лингвиста-тамила д-ра П. Ч. Ганешсундарама (P. C. Ganeshsundaram), сотрудника Indian Institute of Science в г. Бангалуре, во время его визита в СССР в 1970 г.

г) Отмеченная выше универсальная употребительность и почти пустое значение образующего глагола (13) *viṭ[u]*- проявляется также в его способности следовать за всеми другими образующими, кроме перфектного (1) и дуративного (3). С другой стороны, за ним могут следовать только перфектный (1) и глагол (5, 12) *pō*-, последний, впрочем, в литературном языке весьма редко и, по-видимому, не в значении прогрессивного образующего (5), а только в ремотивном и ирретрибутивном значениях (12).

д) Взаимная сочетаемость других образующих, закрепленная языковым узусом, не всегда может быть объяснена совместимостью/несовместимостью их синтаксических и семантических свойств и, по-видимому, в заметных пределах колеблется от идиолекта к идиолекту. Тем не менее, нетрудно убедиться в том, что именно смысловая несовместимость лежит в основе «отказа» многих образующих сочетаться между собой.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

Б. Б. ХОДОРКОВСКАЯ

СИГМАТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ В ОСКСКО-УМБРСКОМ

К числу индоевропейских языков, имеющих сигматическое будущее, как индоиранские, греческий, балто-славянские, кельтские языки, относится также оскско-умбрская группа италийских языков. Особенностью сигматического будущего италийских языков, отличающей его от соответствующих форм в других индоевропейских языках, является то, что в каждом отдельном языке оно представлено тремя образованиями с суффиксами *-s-*, *-es-* и *-us-*. Во всех грамматических описаниях будущее на *-s-* у основ с исходом на гласный (например, оск. *deiua-s-t* «поклянется») и *-es-* у основ с исходом на согласный (например, оск. *did-es-t* «даст») относят к системе форм инфекта, будущее же на *-us-* (например, оск. *fefac-us-t* «сделает») к системе перфекта, называя его перфективным будущим или будущим предшествующим. Для определенного этапа оскско-умбрского это положение, бесспорно, правильно, поскольку в языке имеются такие корреляции форм, как, например, будущее I (оск. *deiuast*) — императив (оск. *deiuatud*) или будущее II (оск. *fefacust*) — перфект конъюнктива (оск. *fefacid*) и перфект индикатива (пренест. *Fhe* : *Fhaked*). Соответственно для этих образований будущего предлагается разная этимология: в формах с суффиксом *-s-* (и *-es*), которые сопоставляются с латинскими архаическими формами — типа *faxō*, *capsō*, чаще всего видят либо конъюнктив сигматического аориста [1], характеризуемый краткими тематическими гласными, либо индоевропейский дезидератив [2]. В суффиксе будущего II *-us-* пытаются найти следы образований, объясняющих перфективное значение будущего II: его связывали с суффиксом причастия перфекта действительного залога **-u̯es/us-*, видя в формах будущего времени сочетание этого причастия с формами глагола «быть» [3]; или, разделяя суффикс на элементы *-u-* и *-s-*, определяли первый элемент *-u-* как показатель основы перфекта (ср. лат. перфект на *-uī*), второй же элемент *-s-* как показатель будущего времени [4]; наконец, объясняли появление суффикса *-us-* в результате сегментации формы будущего времени глагола «быть»: *f-us-t* или **fef-us-t* [5].

Однако не все факты морфологии и синтаксического употребления будущего в италийских языках подтверждают тезис о связях форм будущего и соответственно их грамматических значений с основами инфекта и перфекта. Обратимся к морфологии. Глагол «становиться» имеет следующие формы:

наст. вр.инд. оск. *fiiet*, *fiiet*	буд. I умб. *fuiest*
прич. перф. умб. *fito* «eventum»	наст. вр. конъюнк. умб. *fuia*

[1] R. Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, Strassburg, 1892—1897, стр. 318; C. D. Buck, Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte, Heidelberg, 1905, стр. 108; G. Bottiglioni, Manuale dei dialetti italici, Bologna, 1954, стр. 134.

[2] V. Pisani, Le lingue dell'Italia antica oltre il latino, Torino, 1964, стр. 23.

[3] C. D. Buck, указ. соч., стр. 10.

[4] R. Planta, указ. соч., II, стр. 373; J. John, The Oscan-Umbrian Future Perfect in *-us-*, «Orbis», 1973, 1, стр. 157.

[5] V. Pisani, указ. соч., стр. 23; M. Leumann, Die italischen *f*- und *b*-Tempora, IF, 42, 1924, стр. 66.,

В противоположность формам презенса индикатива (оск. *fiiet*, *fiiet*), в которых выделяется та же основа *fī-* < и. -е. **bhu̯-ī-*, как и в латинских атематических формах *fī-s*, *fī-mus*, будущее I (умб. *fuiest*) и конъюнктив (*fuia*) имеют другой вариант основы *fui-* < и. -е. **bhu-i̯-*. В словаре Вальде — Гофманна для форм с основой **bhu-i̯-* реконструируется особая форма презенса **bhui̯ō*, которая сопоставляется с греч. φύω, лесб. φυίω, др.-инд. *bhūyatē* [6]. Но это сравнение недостаточно убедительно, так как в греческом и в древнеиндийском глаголе имеются только тематические основы на *-i̯o-*, тогда как в италийских языках, наряду с отдельными формами на *-i̯o-*, различаются атематические основы на *-ī-* и *-ĭ-*. Поэтому можно думать, что в оскско-умбрском альтернация вариантов основы с долгим и кратким *ĭ* в исходе, соответствующая аблаутному чередованию внутри корня (**bhu̯-ī-/bhu-i̯-*), связана не с дублетными формами презенса, но служит морфологическому противопоставлению сигматического будущего и конъюнктива на *-ā-* презенсу индикатива. Рассмотрим глагол «иметь; брать»:

наст. вр. инд. умб. *habe*
имперф. умб. *habetu*, *habitu*
наст. вр.конъюнк. *habia*, *neiŕhabas*
буд. I умб. *habiest*
буд. II умб. *habust*, *haburent*
перф. конъюнк. пасс. (?) умб. *cehefi*

наст. вр. конъюнк. пасс. оск. *haf*[*iar*]
буд. I оск. *hafie* <*i*> *st*
буд. II оск. *hipust*
перф. конъюнк. оск. *hipid*

Презентная основа этого глагола, представленная формами настоящего времени *habe* и императива *habetu*, *habitu* [7], совпадает с основой лат. *habē-re*. Формы же будущего I и конъюнктива на *-ā-* имеют в оскско-умбрском основу *habi-*: умб. *habiest*, *habia*, оск. *hafie* < *i* > *st*, *haf* [*iar*]. Это чередование вариантов основы *habē-/habi-* часто объясняется как результат фонетического изменения *ē* в *i* в позиции перед следующим гласным [8]. Но если изменение основы *habē-* в *habi-* перед суффиксом конъюнктива *-ā-* понятно, то в будущем I такой трансформации могло не быть, поскольку в основах с гласным исходом использовался суффикс *-s-* (ср. оск. *deiuast*, *sakrvist*, умб. *prupehast*). Имеется и другое объяснение, согласно которому появление двух вариантов презентной основы *habē-/habi-* явилось результатом смешения в италийских языках корней и флексионных типов двух глаголов — *habeō* «имею» и *capiō* «беру» [9]. Но остается неясным, почему формы с основой *habi-* употребляются именно в значении «иметь», а не «брать». Таким образом, бесспорным остается лишь сам факт соответствия будущего I и конъюнктива на *-ā-*, обнаруживающих общность основы, в противоположность презенсу индикатива, имеющему другой вариант основы.

В древнеумбрском сохранилась более древняя форма конъюнктива на *-ā-* в составе энклитической группы *neiŕhabas* «пусть не используют» (отрицание *nei* + преверб *aŕ* < **ad* + конъюнктив *habas*). Эта форма образована непосредственно от кратковокалического корня и относится к тому же архаичному типу, что и лат. *advenat*, *attigās*. Но особенно примечательно то, что эта древняя форма конъюнктива *-habas* соотносится с будущим II *habus* так же, как более поздняя форма *habia* с будущим I *habiest* (*-habas*: *habus* = *habi-a*: *habi-est*). Но если две категориальные формы, будущее I и будущее II, одинаковым образом соотносятся с третьей

[6] A. Walde — J. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1938, стр. 504.

[7] Чередование *e/i* объясняется тем, что в умбрском языке долгое *ē* было закрытым и в письме, выполненном латинским алфавитом, часто передавалось с помощью *i*.

[8] R. Planta, указ. соч., II, стр. 241.

[9] C. D. Buck, указ. соч., стр. 107; Walde—Hofmann, I, стр. 63.

формой, конъюнктивом на *-ā-*, то не свидетельствует ли это о близости этих категорий? С другой стороны, будущее II (*habus, haburent*) по типу основы отличается от перфекта этого глагола, который в оскско-умбрском имеет основу с продленным корневым гласным [ср. умб. *eitipes* «*dēcrēvērunt*» из **aiketom hēpens* [10], умб. *ce-hēfi* (*r*) [11] и оск. правильные формы *hipust*, *hipid*, где *hip-* < **hēp-*]. Таким образом, оск.-умб. будущее I *habiest*, *hafie* < *i* > *st* и умб. будущее II *habus*, *haburent* по характеру своих основ независимы от основ презенса и перфекта, но корреспондируют с конъюнктивом на *-ā-*, как бы образуя автономную подсистему форм среди остальных форм этого глагола.

Тип морфологической корреляции, отмеченный между умбрским будущим II *habus* и конъюнктивом *-habas*, может быть обнаружен также в соотношении вольск. *atahus* «attigerit» и марруцинск. *ta*[*h*]*a* «tangat» (ср. лат. *tangō*, *tetigī*), умб. *benus* «vēneris» и арх. лат. *advenat* (ср. *veniō*, *vēnī*). Так как образование конъюнктива с суффиксом *-ā-* непосредственно от корня вне зависимости от основ инфекта и перфекта является очень древней особенностью италийского глагола, то не менее древним должен быть и тип корреляции этого конъюнктива с будущим II.

К ряду образований будущего II непосредственно от кратковокалического корня (как умб. *habus*, *benus*, вольск. *atahus*) могут быть присоединены еще несколько форм. Это — умб. *fakust*, *fakurent* (от глагола *façiu* «делать») и оск. *dicust* (от глагола *deikum* «говорить»). Основы перфекта обоих глаголов имеют совсем другое образование: у глагола «говорить» основа перфекта имеет нормальную для корня структуры TeT редупликацию (ср. новоумбрскую форму будущего II *dersicust* < **dedicust*, представляющую собой регулярное образование от редуплицированной перфектной основы). У глагола «делать» перфектная основа образуется в италийских языках либо путем редупликации (ср. пренест. *Fhe:Fhaked*, оск. *fefacust*, *fefacid*), либо путем продления корневого гласного (ср. лат. *fēçī*).

В италийских языках в значении «давать, преподносить, приносить в дар божеству» употребляются, наряду с формами, содержащими простой и.-е. корень **dō-/də-*, также формы, имеющие корень с расширением **dou̯-*. Характерно, что во всех италийских языках этот расширенный корень имеют только модальные формы и сигматическое будущее, в отличие от презенса и перфекта индикатива, образованных от простого корня. В архаической латыни это — *duās* < **dou̯ās*, *duim*, в других италийских языках корень **dou̯-* содержится в двух рядах форм, различающихся ступенями аблаутного чередования в корне и основообразующем гласном. Это следующие формы: от основы *dou̯-i-*: наст. вр. конъюнк. фалиск. *douiad*, императ. умб. *pur-douitu*, *pur-tuvitu*, буд. I умб. *pur-tuvies*; от основы **du̯-ī-* > *dī-*: наст. вр. конъюнк. умб. *dia*, буд. II умб. *pur-tiius* [12]. Интересно отметить, что в древнейшей фалискской надписи 600 г. до н. э. (Vetter 241) рядом с формой конъюнктива *douiad* «чтобы дал» стоит форма перфекта индикатива *por-ded* «дал, преподнес», но она образована, в противоположность конъюнктиву, от простого корня без расширения [13]. В обоих рядах форм, содержащих расширенный корень **dou̯-*, наблюдает-

---

[10] Walde — Hofmann, I, стр. 630; A. Ernout, Le dialect ombrien, Paris, 1961, стр. 84.

[11] E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte (далее в тексте — Vetter), Heidelberg, 1953, стр. 237.

[12] Об аблаутных чередованиях в глагольных основах на *-ī-* см.: R. Schmitt-Brandt, Die Entwicklung der indogermanischen Vokalsystems, Heidelberg, 1967, стр. 72.

[13] G. Herbig, Altitalische Verbalformen, IF, 32, 1913, стр. 81.

ся одинаковое соотношение конъюнктива на *-ā-* с сигматическим будущим, но в одном ряду это будущее I, а в другом — будущее II: фалиск. *doui-a-d*: умб. (*pur*)-*tuvi-es* < **doui-es* = умб. *di-a*: умб. (*pur*)-*tii-us*. Если сопоставить эту пропорцию с приведенной выше (умб. *-hab-a-s*: *hab-us* = *habi-a*: *habi-es-t*), то очевидно, что различие состоит лишь в том, что в одном случае в корреляции участвуют дублетные формы конъюнктива, сохранившиеся в разных диалектах, в другом — формы одного умбрского диалекта, но хронологически разные. В основе же этих соотношений лежит, видимо, одна и та же причина — близость категорий будущего I и будущего II и причастность их к системе косвенных наклонений.

В умбрском языке от одной и той же основы *dĩ-* есть два образования будущего II (*purtiius* и *purtinçus*) [14]. Обычно вторая форма рассматривается как производная от специфически умбрского перфекта с суффиксом **-nkĵ-*[15], происхождение которого неясно ввиду отсутствия каких-либо параллелей в других италийских языках и в индоевропейских языках вообще. Однако, учитывая независимость от перфектной основы одного из дублетов *purtiius* (ср. перфект *porded*), можно предположить подобную же самостоятельность и для *purtinçus*. Если принять во внимание, что глагольная основа *dĩ-*, от которой образованы обе формы, является легкой (CV) и что с ней могут происходить те же процессы расширения, которые затрагивают обычно корневые морфемы, то аффикс **-nkĵ-* можно рассматривать как конглютинат нескольких элементов (*n* + *k* + *i*), каждый из которых используется в индоевропейских языках в функции расширителей корня. История индоевропейской глагольной деривации показывает, что назальный элемент особенно легко подвергается трансформации, вступая в сочетание с другими дополнительными элементами (ср. древнегреческие глаголы на -νυ-μι, на -ανω, древнеиндийские глаголы с суффиксом *-nu/no-*). Но древнее назначение назального элемента — расширить корень (основу) и создать опору для корневого гласного — при этом не меняется. Таким могло быть возникновение суффикса **-nkĵ-*, появившегося в древнеумбрском в составе формы будущего II *purtinçus* и образовавшего усложненный вариант рядом с более простым и более древним образованием *purtiius* [16]. В подобной функции используется назальный аффикс в архаической латыни в формах настоящего времени глаголов *dō* «даю» и *eō* «иду» (основы *da-* и *ĩ-*): *danunt*, *prōdĩnunt*, *nequĩnunt*, *obĩnunt*. Следует отметить, что в латинском и умбрском усложненный вариант основы появляется чаще всего в сложных глаголах. Объясняется это, очевидно, тем, что в образованиях с превербом акцентом выделялся именно преверб, и легкий корень (основа) типа CV или V в заударном положении особенно нуждался в опоре, которую и давал назальный аффикс, в латинском языке представленный одним элементом *-n-*, в умбрском тем же *-n-*, но в сочетании с дополнительными элементами *-k-ĵ-*.

В новоумбрском образование будущего II на *-nśius* получило некоторое распространение в глагольных основах с гласным исходом, где непосредственное присоединение суффикса *-us-* к основе было неудобным и устранялось либо отсечением конечного гласного основы, например, *portust* (ср. императив *portatu* «пусть несет»), *uesticos* (ср. *uesticatu* «пусть совершит возлияние»), либо расширением основы с помощью аффикса **-nkĵ-*, например, *combifiansiust* (ср. *combifiatu* «пусть сообщит»).

[14] Графические варианты (*purdinśiust*, *purdinsust*) показывают, что исходной формой было **purdinkiust*; см.: C. D. Buck, указ. соч., стр. 59.

[15] G. Bottiglioni, указ. соч., стр. 137; V. Pisani, указ. соч., стр. 161.

[16] О том, что *purtiius* относится к более древнему периоду языка, свидетельствует тот факт, что эта форма встречается только в древнеумбрском в противоположность форме *purtinçus*, которая в дренеумбрском отмечена лишь один раз, но получила распространение в новоумбрском.

Глагол «быть»

инф. оск. *ezum*, умб. *erom*
императ. оск. *estud*, вольск. *estu*

наст. вр. инд. оск. *súm*, оск.-умб. *sent*
наст. вр. конъюнк. умб. *sir*, *sins*

императ. умб. *futu*, *fututo*
имперф. инд. оск. *fufans*, имперф. конъюнк. оск. *fusíd*
буд. оск.-умб. *fust*, *furent*
перф. индикат. оск. *fufens*, перф. конъюнк. оск. *fuid*

Формы будущего *fust* «erit, fuerit», *furent* «erunt, fuerint» образованы от кратковокалического корня **fu-*[17] (< и. -е. **bhu-*) и не связаны ни с перфектной основой (ср. оск. *fufens*), ни с презентной основой (ср. оск.-умб. *sent*). Но по типу морфологической структуры формы *fu-s-t*, *fu-r-ent* соотносятся с модальными формами: с императивом (умб. *fu-tu*, арх. лат. *fu*) и архаическим латинским конъюнктивом (*fu-a-t*), которые также независимы от презенса морфологически и семантически (по значению *fuat* ближе к *fiat*, чем к *sit*) [18]. Поскольку подобное соотношение сигматического будущего и форм косвенных наклонений отмечалось также у других италийских глаголов, есть основания думать, что и формы глагола «быть» оск.-умб. *fust*, умб. *futu*, арх. лат. *fu* и *fuat*, возможно, были в общеиталийском членами одной автономной системы, независимой от видо-временных форм глагола. Наличие в оскском формы имперфекта индикатива *fufans* (вообще единственная форма имперфекта в оскско-умбрском!) и формы имперфекта конъюнктива *fusid* не разрушает этого предположения, так как обе эти формации более поздние [19]. Хотя происхождение имперфекта конъюнктива до сих пор остается спорным, но многие из исследователей рассматривают форму *fusid* как вторичное образование от основы сигматического будущего *fus-t* [20]. О том, что форма *fust* относится к очень древнему периоду языка, говорит и то, что в ней слиты как будущее I, так и будущее II — архаизм, сохранившийся только у глагола «быть».

Итак, исследование морфологии оскско-умбрского сигматического будущего показывает, что у ряда глаголов имеется расхождение между основой будущего и основами презенса и перфекта. Это расхождение обнаруживается либо в типе построения основы (например, редуплицированный перфект пренест. *Fhe* : *Fhak-ed* : простое корневое будущее II умб. *facust*), либо в характере основообразующих гласных (наст. вр. умб. *habe* : : буд. I *habi-est*), либо в варьировании структуры корня (например, наст. вр. оск. *fií-et*: буд. I умб. *fui-est*). Независимость основ будущего I и будущего II от основ презенса и перфекта свидетельствует о том, что в системе видо-временных форм глагола они занимали особое место, не входя в подсистемы инфекта и перфекта, как это имело место в латинском языке и в более позднем оскско-умбрском. Доказательством того, что это явление относится к наиболее раннему периоду италийских языков, служат лексические значения анализированных глаголов: «быть», «становиться», «делать», «иметь», «давать, преподносить», «говорить», «трогать», относящихся, бесспорно, к древнейшему слою языка.

С другой стороны, именно там, где наблюдается отклонение основ будущего от основ презенса и перфекта, отмечается корреляция будущего I и II с конъюнктивом на *-ā-* [например, умб. *hab-us* : *-hab-as*; (*pur*)*-tii-us* : *di-a*; умб. (*pur*)*-tuvi-es* : фалиск. *doui-ad*]. В основе соотношения форм

[17] R. Planta, указ. соч., II, стр. 322.
[18] W. M. Lindsay, Die lateinische Sprache, Leipzig, 1897, стр. 592.
[19] O. Hofmann, Das lateinische Imperfektum, «Rheinisches Museum für Philologie», 73, 1920, стр. 222.
[20] K. Brugmann, Der Ursprung des lateinischen Konjunctivus Imperfecti und Konjunctivus Plusquamperfecti, IF, 30, 1912, стр. 344; H. Pedersen, Les formes sigmatiques du verbe latin et le problème du futur indo-européen, København, 1921.

будущего I и II и конъюнктива на *-ā-* лежит общность структурных признаков: в большинстве своем это корневые образования, где формант основы (*-ā-*, *-es-*, *-us-*) присоединен непосредственно к кратковокалическому корню типа CVC или CV; иногда эти формы образованы от расширенного варианта корня (основы) типа **doṷ-*, в противоположность презенсу и перфекту, имеющим простой корень без расширения. Все эти факты говорят о том, что некоторые италийские глаголы сохранили следы более древней организации форм, где конъюнктив на *-ā-* и сигматическое будущее составляли отдельную подсистему, не зависимую от презенса и перфекта индикатива. Не менее важен и тот факт, что с конъюнктивом на *-ā-* одинаково соотносятся формы будущего I и будущего II, что заставляет думать о близости этих двух категориальных форм и о возможном происхождении их из одной более древней морфологической категории. Что это за категория и как объясняется корреляция будущего I и будущего II с конъюнктивом на *-ā-*, можно попытаться установить путем анализа их синтаксических функций.

Формы будущего I и будущего II употребляются в италийских надписях преимущественно в придаточных предложениях: временных, относительных и условных. Есть тексты, где обе формы стоят рядом в параллельных предложениях, и тогда становится особенно удобным сравнение их синтаксических функций. Вот небольшой отрывок из Игувинских таблиц: «sersi pirsi sesust poi angla aseriato est erse neip mugatu nep arsir andersistu nersa courtust porsi angla anseriato iust» (Tab. Ig. VI a, 5) «как сядет тот, кто пойдет наблюдать вещих птиц, так в том месте не пикнуть и никому не появляться, пока не вернется тот, кто пойдет наблюдать вещих птиц». Реальная последовательность действий, о которых говорится в отрывке, такова: пойдет (*est* — буд. I) — сядет (*sesust* — буд. II) — не пикнуть (*neip mugatu* — императив) — вернется (*courtust* — буд. II). Действие, предшествующее всем другим, выражено формой будущего I, а следующие — формами будущего II. Такое употребление форм свидетельствует о том, что будущему II не свойственно значение предшествования, формы же *sesust* «сядет» и *courtust* «вернется» обозначают будущие действия как временные границы, внутри которых будет совершаться требуемое действие. Это значение терминативности характерно для будущего II во временно́м и относительном придаточном предложении и отличает его от будущего I, для которого значение терминативности нерелевантно. В приведенном тексте буд. I *est* «пойдет» обозначает будущее действие, хотя и предшествующее другим, но не служащее временно́й границей для другого действия. Еще несколько примеров употребления будущего II из Игувинских таблиц: «clauerniur dirsas herti.. śesna homonus duir puri far eiscurent» (Tab. Ig. Vb, 8) «клавернцы должны дать обед двум людям, которые доставят полбу»; «pustertiu pane puplu ateřafust iveka perakre tuseṭu» (Tab, Ig. Vb, 40) «на третий день после того как (жрец) совершит очищение народа, пусть гонит лучшую телку»; «mani nertru tenitu arnipo uestisia uesticos» (Таб. Ig. VI b, 24) «пусть держит в левой руке до тех пор, пока (жрец) не выльет жертвенного вина»; «traf sahatam etu ape... couortus ennom comoltu» (Tab. Ig. VII a, 39) «иди по священной (дороге). Когда... вернешься, тогда только размели». Из Бантийского закона: «pon censtur sanšae tautam censazet pis ceus bantins fust censamur esuf in (im) eituam poizad ligud iụsc censtur censaum angetuzet» (Tab. Bant. 18) «когда цензоры будут производить цензовый учет бантийского народа, тот, кто будет бантийским гражданином, пусть сам оценит имущество на основании того закона, который объявят цензоры». Естественно, что наряду со значением терминативности, т. е. обозначением границы во времени, до которой или после которой будет совершаться некое действие, формы буду-

щего II имеют также значение завершенности самого будущего действия. Напротив, будущее I, которое встречается в тех же типах придаточных предложений, обычно указывает на будущее действие, параллельное действию главного предложения, как в приведенном отрывке из Бантийского закона *pon censazet* «когда будут производить ценз» или, например, в Игувинских таблицах «pune prinuvatus staheren termnesku enumek armamu kateramu ikuvinu» (Ib 19) «когда помощники будут стоять на границе, тогда (пусть скажет жрец): „Выстраивайтесь, собирайтесь, жители Игувия“». Но в более ранних текстах сохранилось употребление будущего I в такой синтаксической функции, которая совпадает с функцией будущего II. В этом отношении большую ценность представляют Игувинские таблицы, в которых часть текста дается дважды, сначала на древнеумбрском, а затем в более развернутой редакции на новоумбрском языке. Сравнение таблиц Ia и VIb показывает, что там, где в позднем тексте стоит будущее II, там в древнем тексте употребляется будущее I: «pune menes akeŕuniamem enumek etuŕstamu» (Ib 15) «когда придешь в Акедонию, тогда изгоняй»; «ape acesoniame... benust enom termnuco stahituto poi percam arsmatia habiest eturstahmu» (VIb 52) «когда придет в Акедонию, тогда пусть станут они у пограничной черты. Тот, у кого будет ритуальный жезл, пусть изгоняет (чужих)». Форме буд. II *benust* «придет» соответствует в древнем тексте буд. I *menes*, имеющее то же значение завершенности действия, достижения предела, как и будущее II. Ср. также: «huntak piŕi prupehast eŕek... neiŕhabas» (Tab. Ig. IV 32) «колодцем, который (жрец) заранее освятит,... не пользоваться». Значение предшествования передается превербом *pru-*, форма же буд. I-*pehast* «освятит» обозначает будущее действие, достигшее своего внутреннего предела. Именно в этом значении предельности употребляется сигматическое будущее и в независимом предложении. В Игувинских таблицах встречается сочетание формы *fust* с перфектным причастием для обозначения того результата, к которому приведет предписываемая церемония обряда. Например, «inuk ukar pihaz fust» (Ib 7) «тогда крепость будет освящена»; «enu esunu purtitu fust» (Ib 38) «тогда жертвоприношение будет совершено». Имеет ли в этом употреблении *fust* значение будущего I или будущего II, определить невозможно, так как и по форме (кратковокалический корень + суффикс *-s-*), и по значению (будущее действие, направленное к достижению определенного результата) здесь может быть и то и другое. Можно лишь предполагать, что в форме *fust* в древнеумбрском сохранилось очень архаичное сигматическое образование, из которого развились обе категориальные формы (будущее I и будущее II).

Последний тип придаточных предложений, где употребляются будущее I и будущее II — это условные предложения. Как правило, формой сказуемого в условном предложении является будущее II, например, из надписи на Абелльской колонне B 15: «svaí píd abellanús tríbarakattuset íúk tríbarakkiuf íním úíttiuf abellanúm estud» «если жители Абеллы что-нибудь построят, то пусть пользуются этой постройкой». В Игувинских таблицах: «sue anclar procanurent... combifiatu» (VIa 16) «если вещие птицы прокричат,... пусть (наблюдатель) сообщит»; в вольской надписи (Vetter 222) «sepis atahus... esaristrom se» «если кто-нибудь тронет,... пусть будет (принесена) искупительная жертва».

В текстах законов и предписаний иногда встречается последовательность двух или трех условных предложений, из которых первое имеет сказуемое в форме будущего II, а следующее — в форме будущего I. Например, в Бантийском законе «suaepis contrud exeic fefacust auti comono hipust molto etanto estud n. ∅∅ inim suaepis ionc fortis meddis moltaum herest... licitud» (Tab. Bant. 11) «если кто-либо поступит вопреки этому

(постановлению) или соберет народное собрание, пусть будет наложен штраф в миллион сестерций. Если какой-либо магистрат захочет наказать его больше,... позволить». Оба будущих — *fefacust* «поступит» и *herest* «захочет»— по своей функции в придаточном условном предложении очень сходны, одинаково указывая на возможность действия. Но степень вероятности обоих действий разная. В первом условном предложении говорится о действии, которое возможно, но которое нельзя предвидеть, это — чистая возможность, ничем не обусловленная и ничем не ограниченная (формой ее выражения служит в оскско-умбрском будущее II). Следующее же условное предложение сообщает о действии, которое вполне вероятно, если состоится первое действие, это — другого рода возможность, где уже нет элемента случайности, а, наоборот, есть некоторая обусловленность действия, и тогда используется будущее I. Такая последовательность условных предложений отмечается в Бантийском законе несколько раз (ср. Tab. Bant. 17, 25) и может рассматриваться как связанная синтаксическая структура. Первый член этой структуры всегда включает форму будущего II, во втором же члене допускается вариация — вместо будущего I иногда употребляется презенс индикатива: «suaepis censtomen nei cebnust dolud mallud inim eizeic uincter esuf comenei lamatir» (Tab. Bant. 20) «если кто-то злонамеренно не придет на оценку (имущества) и его уличат, то пусть продадут его самого». Настоящее время *uincter* используется в связанной синтаксической структуре как средство, позволяющее назвать действие без уточнения таких его характеристик, как отнесенность к определенному времени, как вероятность действия, которые в контексте вполне ясны, т. е. используется как форма синтаксической редукции времени и наклонения. Основная же функциональная нагрузка падает на первую форму сказуемого условного предложения (буд. II *cebnust*), которое указывает на возможность действия в будущем.

Сходное построение условных предложений наблюдается в архаических латинских текстах законов. В качестве примера можно привести отрывок из закона о священной роще (Vetter, 228i, 4): «sei quis aruorsu hac faxit [in] ium quis uolet... manum iniect[i]o estod seiue mac[i]steratus uolet moltare [li] cetod» «если кто-нибудь поступит вопреки этому (постановлению), пусть кто захочет,... наложит на него руку. Если же захочет наказать магистрат, позволить». Сравнение с оскским текстом Бантийского закона (Vetter 2, 11) показывает, что оба текста очень близки по смыслу и по структуре. Расхождение касается лишь формы сказуемого в первом условном предложении: там, где в оскском тексте стоит будущее II *fefacust*, в латинском тексте употреблена архаическая форма конъюнктива на *-s- faxit*. Во втором же условном предложении в обоих текстах одинаково стоит будущее I *uolet* и *herest*. Такая же последовательность форм отмечается и во многих других текстах древних латинских законов. Ср. «Lex Silia de ponderibus publicis», «Lex agraria» (CIL I 585, 25), «Lex municipii Tarentini» (CIL I 590 1, 34).

В одиночном условном предложении формой сказуемого является, как правило, конъюнктив на *-s-*. Вот пример из Тита Ливия, где приводится текст самого древнего договора римского народа, заканчивающийся условным предложением: «si prior defexit... tum ille Diespiter populum Romanum... ferito» (I, 24) «если (римский народ) первым отступит (от этого договора), пусть поразит его Юпитер».

Таким образом, функционально, как средство выражения чистой возможности действия в будущем, латинский конъюнктив на *-s-* тождествен оскско-умбрскому будущему II. Но так как будущее I на *-s-*, *-es-* в условном предложении отличается от будущего II на *-us-* лишь степенью выражения того же смысла («возможность обусловленная, связанная» в отли-

чие от «чистой возможности»), то общее модальное значение возможности можно считать древнейшим грамматическим значением всех этих сигматических форм, архаического латинского конъюнктива на *-s-* и оскско-умбрского будущего на *-s-*, *-es-*, *-us-*. Поскольку же не только древнейшая синтаксическая функция, но и важнейшие морфологические признаки объединяют оскско-умбрское будущее I и II и архаический латинский конъюнктив типа *faxō*: независимость от основ инфекта и перфекта, образование непосредственно от корня, краткий корневой вокализм, сигматический суффикс [21],— то есть все основания утверждать, что обе формации оскско-умбрского будущего происходят от общеиталийского конъюнктива на *-s-*.

Последующее семантическое развитие состояло в том, что в оскско-умбрских сигматических формах из древнейшего модального значения возможности действия развилось вторичное значение будущего действия, достигшего своего внутреннего предела (переход значения от «возможно» к «выполнит до конца»). Дальнейшая поляризация этих значений привела к появлению новых значений: с одной стороны, значения чистой возможности и возможности обусловленной; с другой стороны, значения терминативности действия, служащего рубежом, до которого или после которого проходит другое действие, и противоположного значения будущего действия, параллельного другому действию.

Одновременно с этим семантическим развитием шла трансформация суффикса *-s-*, расщепившегося на три находящихся в аблаутном чередовании варианта **-s/es/os-*. Первые два оказались закрепленными в оскско-умбрском за будущим I, **-os-* за будущим II. Графически суффикс **-os-* был представлен в италийских языках в виде *-us-*, так как в древних оскском и умбрском алфавитах был лишь один знак для передачи двух звуков [u] и [o], что объясняется обычно влиянием этрусского письма. Тот факт, что написание *-us-* сохраняется также в поздних текстах, когда гласные [u] и [o] получили дифференцированное графическое обозначение, отражающее, вероятно, несколько измененное произношение, может объясняться известным в истории языков явлением неравномерного фонетического развития в разных частях системы, при котором высокочастотные и функционально нагруженные элементы языка нередко сохраняют древнее произношение. Как пример постоянного написания в умбрском языке *u* вместо этимологического *o* можно привести вторичное личное окончание медиопассивного залога *-tur* < **-tor* и *-ntur* < **-ntor*, преверб *pur-* < < *por-*, например, умб. *pur-dinśus*, ср. фалиск. *por-ded*, в оскском языке энклитическую частицу **-om*, присоединявшуюся к местоименным формам, как *pid-um* «quidquam» [22].

Возвращаясь к сравнению оскско-умбрских сигматических форм и латинского конъюнктива на *-s-*, надо сказать, что при всем сходстве морфологических признаков в одной характеристике они явно расходятся, так как латинские формы являются тематическими: *faxō*, *-is*, *-it*, *-imus*, *-itis*, только 3-е лицо мн. числа *-int*, тогда как италийские формы тематического гласного не содержат: оск. *pertemest*, *pertemust*, умб. *habus*, *haburent*. Большинство лингвистов объясняет отсутствие тематического гласного в этих формах синкопой кратких гласных, которая в оскско-умбрском была значительно более распространена, чем в латинском языке. Но не так давно Х. Бенедиктссон, специально изучавший условия синкопы в оскско-умбрском, показал, что в сигматическом будущем синкопы тематического гласного не могло быть, так как в словоформах определенного про-

[21] F. Thomas, Recherches sur le subjonctif latin, Paris, 1938, стр. 51.
[22] C. D. Buck, указ. соч., стр. 37.

содического типа с кратким предпоследним слогом синкопа гласного в конечном слоге между согласными *s* — *s* и *s* — *t* была невозможна [23]. Это доказательство Х. Бенедиктссона позволяет не только утверждать древность атематической флексии оскско-умбрского сигматического будущего, но и считать, что в латинском конъюнктиве на *-s-* тематизация форм была вторичной. Возможно, что следами этого древнего атематического конъюнктива в латинском языке являются загадочные формы *sins* и *sers*, сохранившиеся в одном из наиболее архаичных памятников латинского языка—гимне Арвальских братьев. Обе они употреблены в одной и той же строке гимна, которая трижды повторяется, при этом два раза стоит *sins*, а при третьем повторении с явным нарастанием напряжения — *sers*. Их можно рассматривать как атематические формы 2-го лица ед. числа конъюнктива на *-s-* **sin-s-s* и **ser-s-s* глаголов *sinō* «позволяю» и *serō* «сею». В словаре Вальде — Гофманна указывается, что оба глагола содержат общий и.-е. корень **sē(i)* - со значением «выпускать, высыпать (семена), сеять» [24]. Тогда эту строку гимна «neue lue rue Marmar sins incurrere in pleoris (sins, a, b sers, c)» можно понимать как: «не позволь, Марс, чуме и разрухе напасть на народ, не выпусти чуму и разруху...» [25].

Итак, древний сигматический конъюнктив характеризовался независимостью своей основы от глагольных основ индикатива, присоединением форманта *-s-* непосредственно к кратковокалическому корню (у некоторых глаголов, сохраняющих индоевропейский аблаут, это корень с нулевой ступенью вокализма), и атематической флексией. Все эти признаки позволяют видеть в нем более древний тип образования, чем в конъюнктиве или оптативе индоиранских языков или греческого, где эти наклонения связаны с определенными видовременными основами глагола. Поэтому гипотеза о происхождении италийского конъюнктива на *-s-* из конъюнктива сигматического аориста, основным показателем которого являются тематические гласные, вряд ли может быть принята. Не меньше сомнений вызывает и другая гипотеза, которая связывает происхождение италийского сигматического конъюнктива с дезидеративом, поскольку уже в ведическом языке дезидератив имел тематическую флексию [26], и для индоевропейского дезидератива А. Мейе также указывает формант с тематическим гласным **-se/o-* и **-əse/o-* [27]; кроме того, такие его приметы, как начальная редупликация или расширение суффикса *-i̯e/i̯o-* заставляют видеть в нем производную форму [28]. Сигматический же конъюнктив, сохраняя в италийских языках черты первичного образования, может быть отнесен к числу древнейших морфологических категорий глагола. Наблюдаемая в италийских языках морфологическая корреляция форм сигматического будущего I и II с конъюнктивом на *-ā-*, генетически индоевропейским оптативом, позволяет реконструировать в общеиталийском особую независимую от индикатива систему косвенных наклонений, основными единицами которой были конъюнктив на *-s-* со значением возможности и оптатив на *-ā-* со значением желательности действия.

---

[23] H. Benediktsson, The vowel syncope in Oscan-Umbrian, NTS, 19, 1960, стр. 231.

[24] Walde — Hofmann, II, стр. 545.

[25] Анализ и толкование всего гимна см.: E. Norden, Aus altrömischen Priesterbüchern, Lund, 1939.

[26] L. Renou, Grammaire de la langue védique, Paris, 1952, стр. 295.

[27] А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М., 1938, стр. 229.

[28] J. Kuryłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 115.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

Р. К. ПОТАПОВА, Н. Г. КАМЫШНАЯ

СЛОГ И ЕГО ПЕРЦЕПТИВНО-ВРЕМЕННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ

Решение той или иной фонетической проблемы нельзя считать достаточно полным, если оно основано исключительно на данных, полученных с помощью экспериментально-фонетической анализирующей аппаратуры. Обращение к тому, что информативно в речевом сигнале для носителя языка, учет данных слуховой идентификации объекта исследования, а также последующая корреляция данных физического (объективного) и перцептивного (субъективного) характера приводят mutatis mutandis к оптимальному решению поставленной задачи. Это положение само по себе не ново [1], но, к сожалению, довольно часто не находит воплощения в решении конкретных фонетических проблем. Более того, многие экспериментально-фонетические исследования наших дней несут на себе печать фетишизации объективных (акустических) методов, в то время как обращение к языковому сознанию говорящего остается вне поля зрения исследователя. Естественно, что такие результаты страдают однобокостью и могут при не совсем корректной интерпретации акустических данных привести к неправильному решению проблемы в целом. Характерным примером в этом отношении может служить модификация подхода к решению проблемы автоматического распознавания речи, где период увлечений чисто инженерной и чисто акустической информацией сменился периодом привлечения информации перцептивного и лингвистического плана. В связи с этим особенно актуальной на данном этапе представляется по мере возможности детальная разработка проблемы временной организации речевого континуума. Исследования последних лет достаточно убедительно показали, что временна́я организация речи является сложным и многоплановым феноменом [2]. Было установлено, что для различных языков характерен определенный тип временной организации слога [3].

Основная задача настоящего исследования заключалась в том, чтобы установить наличие или отсутствие соответствия между типом слога, выделенного на акустическом уровне, и типом слога, идентифицируемого носителями языка на перцептивном уровне. Частные задачи исследования могут быть сформулированы следующим образом: 1) выявление оптимальной длительности для однозначной идентификации структуры определенного

---

[1] Л. В. Щерба, Субъективный и объективный метод в фонетике, сб. «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958; Л. Р. Зиндер, Проблема сегментации потока речи на кратчайшие звуковые единицы, сб. «Вопросы фонологии и фонетики», М., 1971; Л. В. Бондарко, О псевдоизоморфизме между фонетикой и фонологией, там же.

[2] Л. А. Чистович, Проблемы исследования временной организации речи, сб. «Вопросы теории и методов исследования восприятия речевых сигналов», 3, Л., 1972.

[3] Л. В. Бондарко, Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем. ДД, Л., 1969; J. Lehiste, Temporal organisation of spoken language, сб. «Form and substance», Copenhagen, 1971; Д. И. Прокопова, Структура слога. ДД, Киев, 1973; Р. К. Потапова, Н. Г. Камышная, Слогоделение с позиций сегментирующей функции речи, ВЯ, 1973, 3.

типа; 2) определение доминирующего типа идентифицируемой структуры в рамках общего инвентаря идентифицируемых структур для каждого из анализируемых слов; 3) выявление зависимости между инвентарем идентифицируемых структур, а также доминирующим типом идентифицируемой структуры, с одной стороны, и фонетическим качеством предшествующего гласного, с другой стороны; 4) определение характера примыкания согласного к предшествующему гласному в структуре -Г̆СГ- для каждого из анализируемых слов путем сопоставления субъективных и объективных данных; 5) сопоставление полученных данных для английского и немецкого языков.

Цель настоящего исследования и задачи, вытекающие из нее, определили выбор аппаратуры и методику проведения эксперимента. В нашем исследовании мы использовали электронный сегментатор, специальное устройство, позволяющее сегментировать речевой поток на дискретные единицы: квазистационарные участки звуков, переходные участки, слоги, слова, синтагмы, фразы. Последующий анализ этих единиц на перцептивном уровне дает возможность выявить значимые и незначимые участки речевого континуума с точки зрения восприятия.

Исследование проводилось на материале двух германских языков: английского и немецкого. Экспериментальный корпус состоял из изолированно-произнесенных двусложных слов (типа англ. *silly*, *cellar*, нем. *die Stimme*, *die Sonne* и т. д.) со слоговой структурой (С)Г̆СГ(С), где в качестве первого слогоносителя выступает краткий, «усеченный» гласный, находящийся под ударением [4]. Для каждого из исследуемых языков $n = 6$. Слова были начитаны с назывной интонацией при полном типе произнесения [5].

Выбор данной слоговой структуры в качестве объекта исследования не случаен. Известно, что слова, включающие звукосочетания типа Г̆СГ, представляют собой трудную и спорную проблему с точки зрения установления места слогораздела, так как основные фонетические признаки (а именно: длительность гласного, входящего в состав слога; качественные показатели связи гласного с соседними согласными; качественные показатели согласного в зависимости от предыдущего и последующих гласных), помогающие на акустическом уровне определить относительные слоговые границы, в целом ряде случаев оказываются недейственными. Логично предположить, что идентификация типа слога в данной структуре носителями языка на перцептивном уровне представляет собой не менее сложную проблему.

Эксперимент проводился поэтапно. Предварительно записанный на магнитную ленту материал был переписан на кольца, что давало возможность аудиторам прослушивать каждый предъявляемый им сегмент-стимул многократно. На следующем этапе эксперимента, контролируя на слух и визуально наблюдая на экране осциллографа С — I — 16, пользуясь переключателями, расположенными на лицевых панелях счетчиков двух миллисекундомеров, устанавливалось время положения и длительность «окна-сегмента» в исследуемом речевом сигнале. Таким же образом вычленялся необходимый участок в анализируемом речевом сигнале [при-

---

[4] Следует указать на то обстоятельство, что мы воспользовались материалом, записанным ранее на магнитную пленку и обработанным с точки зрения акустических параметров, с той целью, чтобы установить наличие или отсутствие соответствия между типом слога, выделенного на акустическом уровне, и типом слога, идентифицируемого носителями языка.

[5] Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич, Стили произношения и типы произнесения, ВЯ, 1974, 2.

менительно к нашему исследованию — звукосочетание: согласный + + гласный + согласный (сонант)], при этом отдельно фиксировалась длительность участка: согласный + гласный — и длительность сонанта. На конечном этапе путем приращения длительности шагами (h = 10 мсек) был получен инвентарь сегментов-стимулов, предъявляемых аудиторам. Общее число сегментов-стимулов, использованных в эксперименте, составило 184 (для английского языка — 137 и для немецкого языка — 47). Количество сегментов для каждого из анализируемых слов определялось длительностью сонанта в этом слове. В качестве примера следует описать процедуру нахождения инвентаря сегментов-стимулов для структуры [sʌl] в слове *sully* (Д. I).

1) Время положения и длительность «окна-сегмента» в анализируемом речевом сигнале (слове *sully*) составляет 10—550 мсек; 2) длительность структуры: согласный + гласный + сонант — [sʌl] равна 380 мсек; 3) длительность структуры: согласный + гласный — [sʌ] составляет 280 мсек и остается константной при нахождении инвентаря и определении длительности сегментов-стимулов для анализируемого слова; 4) длительность сонанта [l] — 100 мсек; 5) временно́й шаг составляет 10 мсек; 6) инвентарь полученных сегментов-стимулов (n = 10), определяемый длительностью сонанта, в цифровых обозначениях сводится к следующему: 1) 290; 2) 300; 3) 310; 4) 320; 5) 330; 6) 340; 7) 350; 8) 360; 9) 370; 10) 380.

Полученный таким образом инвентарь сегментов для каждого из анализируемых слов предъявлялся аудиторам— носителям языка (для каждого из исследуемых языков n = 5).

Прослушивание было многократным, бинауральным. Аудиторам предлагалось зафиксировать услышанный сегмент-стимул, используя при этом определенную систему диакритических знаков [6].

Подача сегментов-стимулов аудиторам для идентификации типа структуры проходила по определенной временно́й программе: сначала подавались более «крупные» сегменты с приращением длительности за временной интервал, включающий более чем один временной шаг, затем следовали сегменты, в которых приращение длительности осуществлялось шагами в 10 мсек. Следовательно, некоторые из сегментов предъявлялись дважды, что позволило в ряде случаев сопоставить данные, полученные от аудиторов, и проследить их константность.

Для выявления оптимальной длительности, позволяющей идентифицировать аудиторам сегмент-стимул как определенный тип структуры, для каждого анализируемого слова была составлена матрица, в которой фиксировались: а) изменение длительности сегмента-стимула с шагом в 10 мсек; б) инвентарь всех возможных типов структур (СГ, СГ′, СГ^{с}, СГС ⧘, СГС, СГС^{г}, СГСГ); в) число решений, принятых аудиторами для каждого из предъявленных им сегментов-стимулов.

Составленная таким образом матрица данных давала возможность определить: 1) общее число каждой из идентифицируемых типов структур; 2) наибольший процент идентифицируемого типа структуры в определенном временно́м распределении; 3) инвентарь типов структур, идентифицируемых в определенном временно́м интервале; 4) оптимальную длительность сегмента-стимула для наиболее высокой степени идентификации

[6] Условные обозначения для идентификации аудиторами типов структур: СГ — согласный + гласный; СГ′ — согласный + гласный с последующим неопределенным назвуком; СГ^{с} — согласный + гласный с призвуком последующего сонанта; СГС ⧘ — согласный + гласный + часть последующего сонанта; СГС — согласный + гласный + сонант; СГС^{г} — согласный + гласный + сонант + призвук последующего гласного; СГСГ — согласный + гласный + сонант + гласный (двусложная структура, несущая информацию о слове в целом).

структуры определенного типа; 5) динамику сдвига идентифицируемых структур во временно́м распределении.

Данные, полученные для английского языка, показали, что оптимальная длительность сегмента-стимула для идентификации его в качестве структуры определенного типа находится в прямой зависимости от временно́го интервала, обусловленного приращением длительности сегмента-стимула, что, в свою очередь, зависит от количества временны́х шагов. Для каждого из исследуемых слов приращение длительности сонанта за временно́й интервал в 10—20 мсек позволило аудиторам идентифицировать предъявленный им сегмент-стимул как структуру СГ наряду со структурой СГ'. Последующее приращение длительности сонанта (h = = 10 мсек) во временно́м интервале от 30 до 60 мсек давало высокую степень идентификации предъявленного сегмента-стимула как структур СГ^{c}, СГС и СГС ⦚ , причем внутри указанного временно́го интервала наблюдалась дифференциация идентифицируемых структур в зависимости от приращения длительности. Так, приращение длительности в 30 мсек позволяло аудиторам идентифицировать предъявленный им сегмент-стимул, в основном, как структуру СГ^{c}. Последующее приращение длительности во временно́м интервале в 40—50 мсек давало возможность аудиторам идентифицировать структуру СГС наряду с СГ^{c}. И, наконец, приращение длительности во временно́м интервале в 60 мсек приводило к однозначной идентификации сегмента-стимула как структур СГС и СГС ⦚ . Приращение длительности во временно́м интервале от 70 до 100 мсек позволило аудиторам идентифицировать следующие основные типы структур — СГС^{г} и СГСГ наряду со структурами СГС и СГС ⦚ (см. табл. 1).

Таблица 1

Зависимость изменения типа идентифицируемых структур от изменения длительности (n=5) (на материале английского языка)

№ п/п	Слово и сегмент-стимул	Временно́й интервал (в мсек) при h=10 мсек									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	[ˈsili]		СГ'	СГС	СГ^{c}			СГС ⦚	СГС^{г} СГСГ		
2	[ˈselə]	СГ	СГ'	СГС			СГС ⦚		СГС^{г} СГСГ		
3	[	СГ'		СГ^{c}			СГС СГС ⦚	СГС^{г}		СГСГ	
4	[ˈsʌmə]	СГ'		СГ^{c}		СГС	СГС СГС ⦚		СГС^{г} СГСГ		
5	[ˈsʊlid]	СГ—СГ'				СГ^{c}	СГС	СГС	СГС ⦚ СГС^{г}		СГСГ
6	[ˈsæli][1]	СГ СГ'	СГ' СГ^{c}	СГ^{c}	СГ^{c} СГС ⦚	СГС	СГС ⦚ СГС	СГС^{г}	СГС^{г} СГСГ		

[1] Два варианта слова [ˈsæli] приведены здесь в различной реализации краткого ударного гласного [æ]

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют также и о том, что существует ярко выраженная зависимость изменения типа идентифицируемой структуры от временно́го шага. Определенное количественное изменение сегмента-стимула ведет к слуховым модификациям идентифицируемой структуры. В рамках общего инвентаря идентифицируемых структур для анализируемых слов английского языка можно выделить следующие преобладающие типы структур — СГ^{c}, СГС ⦚ , СГС^{г} (см. табл. 2).

На основании вышеприведенных данных можно предварительно утверждать, что для английского языка идентификация доминирующего типа слоговой структуры (в рамках анализируемого материала) не находится в прямой зависимости от фонетического качества ударного краткого, «усеченного» гласного, входящего в состав структуры (С)Ŭ̆ГСГ(С). Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что изменения длитель-

Таблица 2

Доминирующие типы идентифицируемых структур (на материале английского языка)

№ п/п	Слово	Сегмент-стимул	Временнóй интервал (при h=10 мсек)	Доминирующий тип структуры	Временнóй интервал (при h=10 мсек)	Доминирующий тип структуры
1	[ˈsʌli]	[sʌl]	30	СГс	70	СГС ⸨
2	[ˈsʌmə]	[sʌm]	30	СГс	80	СГС ⸨
3	[ˈsæli]	[sæl]	30—40	СГс	60	СГС ⸨
4	[ˈsili]	[sil]	40	СГс	80	СГСг
5	[ˈsʊlid]	[sʊl]	50	СГс	80	СГСг
6	[ˈseləˑ]	[sel]	60	СГс	60	СГС ⸨

ности сонанта с критическим значением, не превышающим $^2/_3$ его длительности, приводят к идентификации неполного закрытого слога. Последовательное наращение длительности сонанта, исключая последние 10—20 мсек, приводит в большинстве случаев к идентификации закрытого типа слога. Реализация же полной длительности сонанта позволяет аудиторам идентифицировать двусложную структуру. Таким образом, сонант в английском языке в его временнóй организации содержит информацию как о закрытом слоге, в состав которого входит краткий усеченный ударный гласный и $^1/_2$—$^2/_3$ длительности сонанта, так и о последующем слоге, состоящем из $^1/_3$ длительности сонанта плюс последующий гласный. Эти данные подтверждают результаты исследования слогоделения на материале английского языка, полученные на акустическом уровне с привлечением СФР [7].

Аналогичное исследование было проведено на материале немецкого языка. В результате обработки экспериментальных данных было обнаружено следующее. В отличие от английского языка, применительно к немецкому языку нельзя говорить об оптимальном времени для идентификации того или иного типа структуры вне зависимости от фонетического качества краткого ударного гласного, предшествующего сонанту, и качества самого сонанта. В данном случае уместнее рассматривать оптимальное время идентификации определенного типа слоговой структуры дифференцированно, с учетом изменения гласного по ряду и последующего сонанта по месту образования (см. табл. 3).

Для идентификации доминирующего типа структуры в немецком языке существенными оказываются качественные характеристики предшествующего гласного. Так, для структуры: краткий ударный нелабиализованный гласный переднего ряда + сонант — в качестве доминирующего типа структуры при идентификации носителями языка выступают СГС ⸨ и СГС. Оптимальная длительность для идентификации СГС ⸨ равна 10 мсек; для СГС — 30 мсек (например, для слова *Stimme*). Исключение составляет слово *Pille*, где оптимальная длительность для идентификации СГС ⸨ и СГС варьирует во временнóм интервале от 40 до 60 мсек, что, по всей ве-

[7] Подробно об этом см.: Р. К. Потапова, Н. Г. Камышная, указ. соч.

Таблица 3

Зависимость изменения типа идентифицируемых структур от изменения длительности (n=5) (на материале немецкого языка)

№ п/п	Слово и сегмент-стимул	Временной интервал (в мсек) при h=10 мсек								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	[ˈʃtimə]	СГС ⦚		СГС	СГС^{г}		СГСГ			
2	[ˈpilə]	СГ'			СГС ⦚		СГС	СГС^{г}		
3	[ˈbanər]	СГС ⦚	СГС			СГСГ				
4	[ˈʃtɔlən]	СГ	СГ'	СГ^{с}	СГС		СГС ⦚	СГС^{г}		
5	[ˈzɔnə]		СГ'	СГ^{с}		СГС ⦚	СГС	СГС^{г}		СГСГ
6	[ˈnvmər]			СГ'	СГС ⦚			СГС^{г}		
					СГС			СГСГ		
					СГ^{с}					

Таблица 4

Доминирующие типы идентифицируемых структур (на материале немецкого языка)

№ п/п	Слово	Сегмент-стимул	Временной интервал (при h=10 мсек)	Доминирующий тип структуры	Временной интервал (при h=10 мсек)	Доминирующий тип структуры
1	[ˈʃtimə]	[ʃtim]	10	СГС ⦚	30	СГС
2	[ˈpilə]	[pil]	10	СГС ⦚	60	СГС
3	[banər]	[ban]	10	СГС ⦚	30	СГС
4	[ˈʃtɔlən]	[ʃtɔl[	30	СГ^{с}	60	СГС ⦚
5	[ˈzɔnə]	[zɔn]	30	СГ^{с}	50	СГС ⦚
6	[ˈnvmər]	[nvm[	40	СГ^{с}	40	СГС ⦚

роятности, объясняется фонетическим качеством альвеолярно-корональных латерального, напряженного [l].

Инвентарь доминирующих структур для слов *Stollen*, *Sonne*, *Nummer* представлен структурами СГ^{с}, СГС ⦚ . Оптимальная длительность для идентификации структур типа СГ^{с} — 30—40 мсек; структур типа СГС ⦚ — 40—60 мсек (см. табл. 4).

Изменения в длительности сонанта с критическим значением, не превышающим $^1/_2$ его длительности, приводят к идентификации неполного закрытого слога для структур с ударными гласными заднего ряда, и к идентификации закрытого слога для структур с ударными гласными переднего ряда. Исключение составляет структура [-il]. Последовательное приращение длительности сонанта, исключая последние 10—20 мсек, приводит в преобладающем большинстве случаев к идентификации закрытого слога. Причем одинаковое приращение длительности во второй части сонанта идентифицируется носителями немецкого языка по-разному в зависимости от фонетического качества гласного, предшествующего сонанту. Так, структуры [-ɔl], [-ɔn], [-vm] будут идентифицироваться как относительно закрытые слоги, в то время как структуры [-im], [-il], [-an] будут идентифицироваться как абсолютно закрытые слоги. Следовательно, для анализируемых слов в немецком языке основным идентифицируемым типом слоговой структуры является структура, соответствующая закрытому типу слога, причем закрытый тип слога идентифицируется в большинстве случаев на протяжении всей длительности сонанта, что соответствует данным, полученным с помощью СФР для изолированных слов немецкого языка [8].

[8] Там же.

Иными словами, для изолированного варианта произнесения двусложных слов, включающих сочетания ЎСГ, в немецком языке достаточно регулярно прослеживается тенденция к локализации слогораздела после сонанта перед последующим безударным гласным.

Резюмируя все вышеизложенное, можно констатировать следующее: 1) для носителей английского и немецкого языков преобладающим типом идентифицируемой структуры является тип структуры, соответствующий разновидностям закрытого слога (СГ^{c}, СГС ⦚ , СГС); 2) локализация слогораздела в анализируемых двусложных словах английского и немецкого языков различна. В английском языке слогораздел, по данным перцептивно-временнóй сегментации, локализуется внутри сонанта, в то время как для немецкого языка характерна локализация слогораздела в исходе сонанта; 3) длительность сонанта в исследуемых германских языках содержит информацию о типе примыкания сонанта (слабого, сильного) к предшествующему гласному. Более того, длительность сонанта может быть классифицирована как ведущий дистинктивный признак для распознавания типа слога в целом; 4) полученные данные еще раз подтверждают правомерность положения о категориальности восприятия речи.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

Л. Н. МУРЗИН

ВОПРОСЫ ДЕРИВАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКЕ XIX в.

Логическая грамматика сложилась в России в 20-е годы XIX в. и была господствующим направлением до второй половины прошлого столетия. Исторически она развивалась в тесном взаимодействии с западноевропейскими лингвистическими учениями своего времени, которые пытались объяснить исторические факты через логические категории, а языковые единицы (слово и предложение) рассматривали как логические понятия. В этом отношении ее основы восходят к идеям, которые еще в XVIII в., например, развивал немецкий лингвист И. Х. Аделунг. «Наше мышление и речь,— писал И. Х. Аделунг,— состоит в том, что мы о некотором предмете нечто утверждаем или отрицаем. Предмет, который имеется в виду, называется субъектом, а то, что о нем утверждается (говорится),— предикатом; вместе они дают предложение» [1]. Укреплению позиций русской логической грамматики способствовали также работы К. Беккера, которые, начиная с 20-х годов XIX в., пользовались широкой известностью и за пределами Германии. Хотя Беккер в своем исследовании не выходил за пределы фактов немецкого языка, он стремился раскрыть правила, пригодные для любого языка [2].

Влияние идей универсальной грамматики сказывалось не только в «логических» определениях языковых единиц, но и в самом способе описания логической грамматикой фактов языка,— скорее дедуктивном, чем индуктивном. Появлению логической грамматики в России непосредственно предшествовал период увлечения идеями универсальной грамматики. Так, уже в начале XIX в. в Петербурге и в Харькове издается целый ряд работ, так или иначе пропагандировавших эти идеи [3]. Однако русская логическая грамматика ни в коем случае не является разновидностью универсальной грамматики. Используя идеи последней, она продолжала те традиции описания русского языка, которые мы находим в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова и — отчасти — в опубликованных работах его ученика А. А. Барсова, а также в Академической грамматике 1802 г. Внимательное отношение к фактам именно русского языка, стремление к четкой их систематизации обнаруживается в трудах крупнейших представителей логической грамматики в России.

В тот период, когда в России развивалось рассматриваемое лингвистическое направление, начинает, как известно, зарождаться сравнительно-

[1] J. Ch. Adelung, Deutsche Sprachlehre, Wien, 1792.

[2] K. F. Becker, Organism der Sprache als Einleitung zur deutschen Grammatik, Frankfurt-am-Main, 1827, стр. VIII—IX.

[3] См.: И. Рижский. Введение в круг словесности, Харьков, 1806; И. Орнатовский. Новейшие начертания правил российской грамматики, на началах всеобщей основанные, Харьков, 1810; Н. Язвицкий. Всеобщая, философическая грамматика, СПб., 1810; Л. Г. Якоб, Начертание всеобщей грамматики, в кн.: «Курс философии для гимназий Российской империи», ч. 2, СПб., 1812; Н. Паки де Совиньи, Всеобщая и философическая грамматика языков или ключ ко всем языкам и литературе, Харьков, 1823, и др.

историческое языкознание. Оно не могло не оказать определенного и постепенно возраставшего влияния на логическую грамматику. Если вначале, в 20-е годы, исторический подход к языку лишь теоретически признавался как возможный и равноправный с другими подходами (Н. И. Греч), то в 50-е годы была предпринята попытка объединить принципы «логического» изучения языка с принципами его исторического изучения (Ф. И. Буслаев). Таким образом, русская логическая грамматика XIX в. была довольно сложным явлением в истории отечественного языкознания. Она совмещала в себе несколько неоднородных в теоретическом отношении методических компонентов. Собственно логический и деривационный компоненты проявлялись прежде всего в синтаксисе и отчасти в морфологии (точнее — в словообразовании, которое не выделялось в особый раздел). В фонетике и в значительной степени в морфологии, где давался перечень соответствующих единиц, преобладал чисто описательный компонент. Что касается диахронического компонента, то в явном виде он представлен только в «Исторической грамматике» Ф. И. Буслаева.

Логико-грамматические принципы, впервые в отечественном языкознании разработанные Н. И. Гречем, затем уточнялись, отчасти пересматривались и заново обосновывались в трудах его последователей. Влияние идей Н. И. Греча было особенно сильно в области синтаксиса, теснее других «уровней» языка связанного с деривационными процессами. Однако, опираясь на те же принципы анализа, А. Востоков, П. Перевлесский, П. Басистов, И. Давыдов и др., используя достижения и западноевропейской лингвистической мысли середины XIX в. (в частности, идею «организма» языка, положенную К. Беккером в основу своей концепции), оригинально решали многие вопросы теории и практики изучения русского языка. Существенный вклад в развитие и обоснование «деривационного компонента» логической грамматики внес Ф. И. Буслаев, который подходил к деривационному анализу с точки зрения истории языка.

Исходя из того, что язык есть средство выражения мысли, логическая грамматика объясняла производные языковые единицы как следствие некоторых деривационных процессов (слияния, сокращения, опущения и др.). Не ставя перед собой цель смоделировать эти процессы, формально представить их механизм, она часто ограничивалась, описывая те или иные результаты деривации, ссылкой на исходные структуры, наивно полагаясь на «здравый смысл» читателя.

Сущность слияния Н. И. Греч видел в том, что исходные предложения имеют одинаковые члены, которые в слитном предложении представлены одним «общим» членом. Он выделяет предложения с общим подлежащим (*Дом высок и просторен*), с общим сказуемым (*Солнце и луна светят*), с общей связкой (*Москва была велика, а Тверь мала*) и т. п. [4]. Лишь за первыми двумя типами предложений впоследствии был закреплен термин «слитные предложения», третий же был отнесен к сложносочиненным. Греч правильно отмечает общую основу механизма слияния в том и другом случае — тождественность некоторых компонентов исходных предложений. Причем он устанавливает и различие между этими типами предложений: в первом случае тождественные слова «слиты», а во втором одно из них «подразумевается». Однако дальше этого Греч не идет, и поэтому само сближение сложносочиненных и слитных предложений кажется неоправданным.

Более осторожно оценивает этот процесс П. Басистов: «Логически сочиненные предложения, если в них есть одинакие члены, склонны к слия-

[4] «Практическая русская грамматика, изданная Николаем Гречем», СПб., 1827 (далее указания на стр. даются в тексте).

нию»[5]. Действительно, предложения, имеющие одинаковые части, вовсе не обязательно подвергаются слиянию. Но ограничение, накладываемое на слияние, Басистов видит только в требованиях чисто стилистического характера: «Логически-счиненные предложения, имеющие одинакие части, не сливаются в таком только случае, когда слияние могло помешать каким-либо риторическим или рифмическим целям» (стр. 60—61).

Правда, на концепции слияния, выдвинутой Басистовым, сказались отрицательные стороны «логистического» подхода к языку. Он полагал, что о слиянии можно говорить лишь тогда, когда слитые понятия (не слова!) взаимно исключают друг друга (стр. 61). Поэтому, например, в предложении *Граждане молили небо со слезами тронуть, смягчить жестокое сердце Иоанна* слияние отсутствует, ибо это лишь «видимый образец счинения» и однородные члены, очевидно, выражают одно и то же понятие. Столь же неправильно, по мнению автора, усматривать слияние и в предложении *Он занимался математикой и наукой*. Как видно, имеется в виду не грамматическое, а чисто логическое понятие правильности предложения. П. Басистов в данном случае явно не разграничивал грамматического и логического уровней предложения и фактически их отождествлял.

Рассматривая процесс слияния, Ф. И. Буслаев, в отличие от Н. И. Греча, разграничивал слияние предложений, соединенных по способу сочинения, и слияние предложений, соединенных по способу подчинения. Если слияние при сочинении он описывал традиционно, уточнив лишь практические правила, сформулированные Н. И. Гречем[6], то к слиянию при подчинении Ф. И. Буслаев подходил принципиально по-другому. До него такое слияние видели в сложноподчиненном предложении, по существу смешивая слияние с опущением (например, П. Перевлесский). Буслаев же сосредоточил внимание на результатах слияния в простом предложении, когда слитое предложение «хотя и может быть рассматриваемо как целое предложение, но употребляется в смысле отдельной части речи»[7]. Такой подход к слиянию целиком обусловлен исторической точкой зрения. Почти все случаи, которые в связи с этим перечисляются, относятся к истории языка, а не к его данному состоянию. Таковы слова *пускай*, *дескать*, *ведь*, *буде*, которые Буслаев называет союзами, частицы *было* и *бывало* (*сделал было*, *сидел бывало*), обстоятельственные фразеологические обороты типа *того и гляди*, *как раз*, *чем свет*, *ни есть*, *ни было* (*бы*), а также местоимения и наречия с частицей *нибудь* (*кто-нибудь*, *где-нибудь*). Единственным исключением из приводимого Буслаевым списка являются «безличные глаголы» *вероятно*, *верно*, *должно быть* и др., т. е. вводные слова: *вероятно*, *придет* (*что придет*), *должно быть скажет* (*что скажет*). Закономерности образования последних были достаточно «живыми» для современного Буслаеву языка. Из приведенных примеров видно, что процесс образования предложений с вводными словами Буслаев сводит к опущению подчинительного союза. Однако в другом месте Буслаев пишет: «Словосочинение вводного предложения объясняется слиянием» (стр. 552). Причем «позиция» вводного предложения внутри другого предложения для Буслаева лишь внешний факт. Подобно И. Давыдову, он видит в нем главное предложение.

---

[5] П. Басистов, Система синтаксиса, 2-е изд., М., 1878, стр. 59 (далее указания на стр. даются в тексте).

[6] Греч считал, что «сливаемые» слова должны быть совершенно сходными грамматически. Буслаев снимал это ограничение, полагая, что сходство в роде, числе и лице необязательно.

[7] Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 285 (далее указания на стр. даются в тексте).

Известную ценность представляют наблюдения Ф. И. Буслаева над характером взаимодействия предложений при слиянии в сложноподчиненном. «При слиянии предложений,— пишет он,— иногда придаточное поглощается главным, напр., *ударил чем ни попало* (т. е. тем, что попало), в посл. *всякий пляшет, да не как скоморох* (т. е. не так, как скоморох); иногда же наоборот, главное поглощается придаточным, напр., сокращенные предложения: *правда, даром, неравно* так сливаются с придаточным, что образуют составное речение вместе с относительными частицами: *правда, что..., даром что* (= хотя)» (стр. 551). Термин «слияние», как видим, Буслаев употребляет в очень широком смысле, недостаточно четко отграничивая этот процесс от других синтаксических процессов.

Большое внимание в логической грамматике уделялось так называемым сокращенным предложениям, т. е. простым предложениям с причастными и другими оборотами. Они рассматривались как результат преобразования сложноподчиненных предложений, в которых придаточные замещались оборотами (последние поэтому также назывались придаточными, но сокращенными предложениями). Н. И. Гречем случаи сокращения анализируются в соответствии с выделенными типами придаточных, в основу классификации которых положен категориальный признак распространяемого слова главного предложения. Сокращаются придаточные существительные (*Он обещал мне, что придет завтра — Он обещал мне прийти завтра*), придаточные прилагательные (*Я уважаю сего человека, который есть мой друг — Я уважаю сего человека, моего друга*), придаточные обстоятельственные (*Не могу ему верить, ибо я же был обманут им — Будучи обманут им, я не могу ему верить*). Описывая сокращения, Н. И. Греч касается формы преобразований. Так, он отмечает, что при образовании приложений сказуемое в полном придаточном есть имя существительное, «при сокращении опускается местоимение и связка, а имя, коим выражается сказуемое придаточного предложения, приводится в согласие с существительным главного» (стр. 373—374). Вслед за М. В. Ломоносовым он находит, что в русском языке существуют специальные морфологические формы, предназначенные для сокращения придаточных,— причастия и деепричастия. При этом он перечисляет случаи, когда «сокращение» по тем или иным причинам формального характера невозможно (стр. 379). Заметим, что намеченные Гречем ограничения на «сокращение» воспроизводятся в иных терминах в современных пособиях по практической стилистике [8].

При этом надо отдать должное языковому чутью Н. И. Греча, который улавливал порой весьма тонкие семантические различия между сопоставляемыми конструкциями. Однако Н. И. Греч нередко смешивает формальный и семантический уровень. Так, указывая на то, что причастия можно рассматривать как «совокупление» глаголов с относительным местоимением, что само по себе верно, так как местоимение находит соответствие во флексии причастия (ср., *солнце, освещающее землю — которое освещает землю*), он затем механически переносит ту же формулировку и на деепричастие (стр. 362). Но в последнем «союз подчиняющий» не находит никакого формального соответствия. Иногда в грамматике Н. И. Греча мы встречаемся с необоснованными утверждениями относительно тех или иных фактов. Так, сложное предложение с пояснительным придаточным Греч рассматривал как результат непосредственного сокращения. Например, предложение *Сын его умер — случай для отца ужасный* он возводит к предложению *Сын его умер, который случай для отца ужасный* (стр. 377). Оче-

[8] Ср., например: А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1952, стр. 259—260, 262.

видно, деривационная история подобных предложений более сложная и требует более глубокого анализа, чем это представлял себе Греч.

В работах последователей Греча мы находим более глубокое понимание процесса сокращения. Из того, что придаточное предложение и его эквивалент выполняют одну и ту же функцию — функцию члена предложения, делался логический вывод о преобразовании предложения в словосочетания и слова. Отсюда глубокая связь между синтаксическими и словообразовательными процессами: производное слово есть результат преобразования предложения. П. Басистов механизм преобразования придаточного в член предложения сводит к тому, что «в нем (придаточном) опускаются относительная часть речи и глагол „быть", явно или скрыто находящийся во всяком сказуемом» (стр. 41). Но изъятие из предложения глагола «быть» означает не что иное, как, пользуясь современной терминологией, номинализацию предложения. Поскольку понятие есть скрытое суждение, производные слова логической грамматикой объяснились через их сопоставление с синтаксическими конструкциями. Так, описывая простые предложения, П. Перевлесский расчленяет определения и дополнения на явные и скрытые, имея в виду под последними компоненты таких сложных слов, как *чернозем* (в противоположность явному определению *черная земля*) или *злоупотреблять* (в противоположность явному дополнению *употреблять во зло*) [9].

Представители логической грамматики подчеркнуто не отграничивали уровень словообразования и уровень синтаксиса. Образование производных слов и словосочетаний они рассматривали как единый глобальный процесс, возводя то и другое к предложению.

В этом отношении представляет значительный интерес анализ данного процесса в трудах И. Давыдова и Ф. И. Буслаева. В «Опыте общесравнительной русской грамматики» (СПб., 1853) описываются определительные словосочетания с последовательно деривационной точки зрения. «Определение со своим определяемым,— замечает автор,— есть собственно сказуемое, перешедшее в понятие» (стр. 322). Основанием для такого утверждения служит «одинаковость» отношения определения к определяемому и отношения сказуемого к подлежащему. Следовательно, определительное словосочетание образуется из предложения. Например, в основе словосочетания *быстротекущая река* лежит предложение *Река быстро течет* (И. Давыдов употребляет здесь, разумеется, логические термины, но сущность рассуждений от этого не меняется).

Анализ фактов русского языка заставляет Давыдова увидеть неоднородность процессов образования определительных словосочетаний. Так, он говорит об образовании определений из дополнений исходного предложения, например, в случае *дворец государя*. Последнее словосочетание он возводит к предложению *Дворец принадлежит государю* через *дворец, принадлежащий государю* (стр. 332). Образованию определений из дополнений И. Давыдов противопоставляет образование приложений.

Любопытно, что, описывая образование определений, И. Давыдов нигде даже не упоминает о самом «типичном» случае образования определения — из сказуемого, выраженного прилагательным. Скорее всего, это объясняется тем, что Давыдов не видел существенной разницы между определением и сказуемым, когда они выражены прилагательным, поскольку это различие носит не формальный, а функциональный характер.

Рассматривая многочисленные случаи сокращений, Ф. И. Буслаев пытается найти общую формальную основу этого процесса и видит ее в том, что сокращается собственно сказуемое как основной член предложения,

[9] П. Перевлесский. Начертание русского синтаксиса, М., 1848, стр. 9.

т. е. глагол-сказуемое преобразуется в имя существительное. Этому вопросу Буслаев уделяет большое внимание, неоднократно возвращаясь к нему в своей грамматике (см. стр. 281—282, 515—519 и др.). Средством, с помощью которого осуществляется этот процесс, является «производство имени от глагола», например, *кто сеет, ожидает жатвы — сеятель ожидает жатвы*; *что сеется, то может приносить плод — семя может приносить плод* (стр. 281). Полученные существительные характеризуются Буслаевым как более отвлеченные, чем глагол (не выражают времени). Именно потребностью в отвлеченном обозначении действия объясняется, по мнению Буслаева, этот процесс. Раз образовавшись в языке, отглагольные существительные употребляются двояко: «или 1) бывают с явным или подразумеваемым глаголом вспомогательным; напр., *жалоба моя — я жалуюсь...*, и тогда составляют целое предложение; или же 2) употребляясь без вспомогательного глагола, оказываются частью предложения, напр., *идет на поклон*» (стр. 516).

Буслаев отмечает также, что в существительное переходит не только глагол, но и прилагательное, когда оно является частью сказуемого. Например, *заступление бесполезно — бесполезность заступления* (у Пушкина: «чувствуя бесполезность заступления»). Как результат сокращения целого предложения он рассматривает сложные слова, которые «происходят от сказуемого», например, *листопад*, т. е. *когда падают листья* (стр. 283).

Рассматривая производство имен, Ф. И. Буслаев пытается дать ему историческое объяснение. Но в сущности ничего «исторического» в его рассуждениях, кроме терминологии, нет. В самом деле, он утверждает, что «имена существительные, как названия только понятий, происходят от глаголов, выражающих суждения» (стр. 259), но никаких «исторических» доказательств и фактов, взятых из истории языка, он не приводил да и не мог привести. Он вынужден был опираться на единственно доступную наблюдению морфологическую структуру слова (*дела-тель* — тот, кто делает, *семя* — то, что посеяно). Такая опора имеет силу не исторического, а деривационного обоснования.

Сосредоточив внимание на переходе глагола в существительное, Ф. И. Буслаев касается и других форм, которые приобретает глагол в процессе сокращения предложения: причастия (*кто много трудится, устает — много трудящийся устает*), деепричастия (*когда усердно работаешь, тогда не замечаешь течения времени — усердно работая, не замечаешь течения времени*), инфинитива (*желаю, чтобы вы успели в своем предприятии — желаю вам успеть*) и пр.

Механизм сокращения предложений не сводится Буслаевым к словопроизводству. По существу своему это процесс синтаксический. Когда сказуемое уже выражено существительным, оно преобразуется лишь синтаксически. Буслаев отмечает два случая: существительное становится либо приложением (*река Днепр*), либо определением (имеется в виду творительный признака) [10].

Анализируя сложноподчиненное предложение, представители логической грамматики обратили внимание на некоторое несоответствие средств выражаемым отношениям.

Говоря о замене подчинения сочинением («главное, т. е. неподчиненное, полагается вместо придаточного» — стр. 367), Н. И. Греч опирается исключительно на семантическую сторону предложений: *Твори добро и бу-*

---

[10] Творительный признака не обязательно дожен быть выражен существительным. Он может быть представлен и прилагательным. Но так как прилагательное в таких случаях всегда предполагает «опущенное» существительное, тождественное подлежащему, то для Буслаева разграничение этих творительных не существенно.

дешь счастлив (вместо *Если станешь творить добро, то будешь счастлив*). *Хочешь быть спокоен? Довольствуйся малым* и т. п.

Более содержательно трактует проблему «замен» придаточных П. Басистов. В его «Системе синтаксиса» мы обнаруживаем намек на то, что в наше время получило название первичных и вторичных функций. Поскольку каждый член предложения выражается «своими» частями речи (подлежащее и дополнение — существительным, обстоятельство — наречием, определение — прилагательным), постольку и придаточные имеют «свои» формы выражения. «Когда вместо формы, требуемой подчиняющим предложением, употребляется другая, тогда придаточное предложение называется заменительным» (стр. 31).

Басистов отмечает также случаи соотносительного подчинения, полагая, что мы имеем здесь дело с заменой независимых предложений зависимыми, придаточными (для «усиления логической связи» и подчинения между «независимыми мыслями»), что выражается в «заменении» указательного местоимения относительным, например, указательное местоимение *это* может заменяться на относительное *что* (*На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки..., что было весьма обыкновенно в те удалые времена*) или местоимение *так* на *как* (*Все слушали с большим вниманием длинную речь молодого человека, весьма хорошо написанную, как мне казалось*). Любопытно примечание, которое делает Басистов к такого рода предложениям: «В нашем языке эти к а ж у щ и е с я п р и д а т о ч н ы м и предложения все-таки должны быть принимаемы за независимые грамматически» (стр. 63).

Ф. И. Буслаев ничего не говорит в своей книге о заменах придаточных, вероятно, потому, что они не затрагивают функциональной, собственно синтаксической стороны дела. Но он все-таки обращает внимание на соответствия связующих средств в придаточном и главном предложениях: относительные местоимения придаточного находятся «в явном или подразумеваемом виде» в соответствии с указательными местоимениями главного (например, *тот — кто, то — что, столько — сколько, там — где, тогда — когда, тем — чем* и пр.— стр. 280).

Наконец, логическая грамматика описывала еще один важный тип синтаксических процессов — так называемое о п у щ е н и е (или, в современной терминологии, процесс компрессии предложения). Как результат опущения членов предложения Н. И. Греч рассматривал неполные предложения. По его мнению, опускаются: 1) связка в настоящем времени (*Он учитель*), 2) существительное при прилагательном (*В жары не пей холодного, Поди в гостиную*), 3) личные местоимения. Опущение последних приводит к предложениям, которые впоследствии А. А. Шахматов назвал личными односоставными: определенно-личными (*Пишу письмо*) и неопределенно-личными или обобщенно-личными (*Говорят, что скоро будет мир*). Очевидно, этот список «опущений» далеко не исчерпывает фактов русского языка. Представляется, что опущение связки — случай особый, и его нельзя рассматривать в одном ряду с двумя другими случаями, отмеченными Гречем.

Авторы последующих логических грамматик, описывая процесс опущения, в основном повторяли Н. И. Греча. Исключение представляет Ф. И. Буслаев, который привлекал большое число новых фактов для объяснения «опущений» и тем самым углублял представление об этом процессе.

Ф. И. Буслаев разграничивал два вида опущений: 1) опущение в одном предложении, 2) опущение в «присовокуплении одного предложения к другому», т. е. прежде всего в диалогах. В основу этой классификации Буслаев интуитивно кладет существенные особенности диалога, отличающие его от монологической речи.

Значительно большее внимание Буслаев уделяет случаям опущения внутри одного предложения, выделяя здесь опущение существительного и опущение глагола. Существительное опускается при двух семантико-синтаксических условиях: 1) оно должно иметь весьма общее значение и 2) это значение должно явствовать из относящегося к нему определения, заключаясь в последнем как «родовой признак».

Ограничивая круг опускаемых слов существительными (причем главным образом в функции подлежащего) и глаголами, Буслаев подводит под это ограничение некоторое теоретическое обоснование. Хотя подлежащее и сказуемое — главные члены предложения (они господствуют над другими членами в грамматическом отношении), но с точки зрения «точнейшего выражения мысли» они уступают второстепенным членам — определениям, дополнениям, обстоятельствам (стр. 285). Одновременным опущением главных членов Буслаев объясняет также образование некоторых независимых обстоятельств [11], полагая, что они являются остатком целого предложения. Ф. И. Буслаев не поддержал учение Н. И. Греча о логическом эллипсисе — опущении целых предложений в связной речи. Анализируя относящиеся к процессу опущения факты, Ф. И. Буслаев не раз подчеркивал его семантическую природу.

Следует заметить, что Буслаев в применении теории опущений не был до конца последователен и отступал от установленной в логической грамматике традиции. Так, вопреки мнению своих предшественников и отчасти противореча самому себе, Ф. И. Буслаев настаивал на том, что подлежащее, выраженное личным местоимением, не опускается, так как содержится в сказуемом (стр. 285). Единственным доводом в пользу этого мнения служит для Буслаева тождественность «этимологической формы подлежащего» в личных и безличных [12] предложениях: *да-м* (*я дам*), *ес-т* (*он ест*). Различие между этими предложениями он видит только в том, что в безличных эта форма не выражена явно, а «сокрыта в личном окончании глагола». Скрытая форма подлежащего обнаруживается, по мнению Буслаева, не только в таких предложениях, как *Рассветает*; *Говорят*; *Тише едешь — дальше будешь*, но и в таких, как *Ему не спится*; *Много было говорено*.

Таковы те основные синтаксические процессы, которые так или иначе освещались в русской логической грамматике XIX в.

Эта грамматика, опираясь на традиции, восходящие к универсальной грамматике XVII в., пыталась, не всегда последовательно и глубоко, раскрыть действие логико-синтаксических законов в языке [13]. Для ее представителей синтаксис был не только предметом описания, регистрирующего определенные факты, признаки, формы и типы предложений, но и той областью лингвистики, в которой исследуются процессы производства языковых единиц. Хотя многие ее положения безусловно устарели и в наши дни кажутся наивными, тот путь, по которому логическая грамматика шла в исследовании синтаксических явлений, представляется весьма перспективным и актуальным в свете задач, стоящих перед современной лингвистикой.

---

[11] Кстати, в учении о независимых обстоятельствах типа *час от часу* (ср. зависимое *идти в город*) можно с известным основанием видеть зерно того, что Н. Ю. Шведова назвала детерминацией. См.: Н. Ю. Шведова, К спорам о детерминантах, ФН, 1973, 5.

[12] Под безличными предложениями Ф. И. Буслаев понимает все односоставные предложения, сказуемое которых выражено глаголом.

[13] См.: Н. К. Грунский, Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков, I (вып. 1—2), II, Юрьев, 1911, стр. 230—245, а также: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, СПб., 1904.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

В. А. НИКОНОВ

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАВКАЗА

Вне Кавказа почти совсем не знают о размахе ономастических исследований на Кавказе, хотя по возрасту их можно считать самыми древними в стране (в Армении этнонимы и топонимы рассматривал еще Мовсес Хоренаци, V в., споры о космонимах вел в своей «Космографии» Ананий Ширакаци, VII в.), однако на протяжении столетий недолгие подъемы перемежались длительным застоем. Только с середины XX в. рост советской ономастической науки привел к перелому и на Кавказе. Особенно стимулировал исследования Кавказский ономастический семинар (Махачкала, 1971), где встретились лингвисты, историки, географы, этнографы, практические работники (сотрудники ЗАГС, картографы) всех республик и областей Кавказа. Труды семинара находятся в печати (сб. «Ономастика Кавказа»).[1].

Исследований по ономастике Кавказа сегодня сотни, здесь невозможно хотя бы перечислить их. Задача иная: по возможности показать разнообразие их за последние 10—15 лет [2], охватив все отрасли ономастики и привлекая примеры по различным языкам «стоязычного» Кавказа, критически рассмотреть работы, планы, задачи и пробелы. Приходится предварительно оговорить терминологическую путаницу: многие авторы продолжают смешивать топонимию с топонимикой, именуют антропонимику ономастикой и т. п., это отразилось в заглавиях работ (которые здесь приведены в авторской форме).

1. Топонимика. Пока наибольшей широты достигло изучение топонимии, хотя традиции имелись у топонимистов не всего Кавказа. Авторы азербайджанского топонимического очерка отмечают, что изучение географических названий — дело последнего десятилетия [3]. И. Х. Абдуллаев в 1969 г. подчеркивал: «До последнего времени топонимия Дагестана не была объектом специального исследования» (стр. 156). Еще десятилетие

---

[1] Ниже приняты следующие сокращения: ОК — сб. «Ономастика Кавказа», Махачкала (в печати); ВКТ — «Всесоюзная конференция по топонимике СССР», Л., 1965; ИФЖ — «Историко-филологический журнал», Ереван; МТА — «Материалы научной конференции, посвященной изучению топонимии Азербайджана», Баку, 1973.

[2] См. обзоры за предыдущие годы: Ш. Т. Апридонидзе, Новая ономастическая литература о Грузии, сб. «Ономастика Востока» (в печати); И. Х. Абдуллаев, Некоторые итоги изучения дагестантской топонимики, «Материалы 1-й сессии по сравнительно-историческому изучению иберийско-кавказских языков (1965)», Махачкала, 1969.

[3] Р. Юзбашев, К. Алиев, Ш. Саадиев, Географические названия Азербайджана, Баку, 1972 (на азерб. яз.).

назад сетовали на скудность топонимических работ даже в Грузии и Армении. Сегодня этого не услышишь. В Грузии при филологическом факультете Тбилисского университета создана Топонимическая лаборатория, 12 штатных работников которой развернули сбор всей топонимии и микротопонимии республики, систематически проводя топонимические экспедиции [4]; в отлично организованной картотеке сосредоточено 125 тыс. топонимов, намечаемый объем близок к полмиллиону. В Азербайджане топонимический центр — Отдел географических названий Института географии АН АзербССР, имеющий шесть сотрудников и связанный с топонимистами других академических институтов Баку; главная задача Отдела — собрать топонимию Азербайджана; проведены топонимические экспедиции в Мугань [5] и другие районы; состоялась конференция по топонимике Азербайджана с 50 докладами (см.: МТА).

По некоторым языкам Кавказа предприняты попытки сводных топонимических работ двух типов: общий очерк или этимологический словарь, которому также предпосылают вводный очерк, например, по Кабардино-Балкарии [6]. А. А. Глонти осторожно воздержался от словаря, а вслед за очерком ограничился словником топонимов и микротопонимов Западной Грузии [7], предупредив, что это лишь материалы для словаря. В Азербайджане хотя и подготовлено три топонимических словаря [8], но создание серьезного научного словаря потребует еще годы. В Армении напрасно привязали подготовляемый топонимический словарь к общегеографическому [9] — смешение, вредящее обеим задачам. Представление о топонимии Северной Осетии дает обстоятельная книга А. Д. Цагаевой [10], Азербайджана — упомянутая коллективная брошюра, краткая статья Р. М. Юзбашева [11] и ожидаемая с интересом книга тюрколога А. А. Ахундова; с топонимией арчинского языка впервые знакомит С. М. Хайдаков [12]. Очерки в большинстве содержат сортировку топонимов по языковому происхождению, по лексическим основам и словообразованию. Так как монографических разработок этих проблем еще нет, очерки в своем большинстве неизбежно «предварительны» (за исключением немногих разделов, по темам которых авторы провели самостоятельные исследования).

Одна из важнейших задач — собрать топонимические данные из памятников прошлого. Топонимы Грузии из древнегреческих источников (с VIII в. до н. э.) собрала В. Ш. Джоджуа [13], не все их удалось локализовать, еще предстоит труднейший анализ. По армянским источникам грузинскую топонимию собирает Ш. Т. Апридонидзе. Ч. Мирзазаде проследила историческую судьбу названия *Азербайджан* и смену названий Кас-

---

[4] В. Б. Джорбенадзе, Топонимическая лаборатория в Тбилисском университете, ОК.

[5] Р. М. Юзбашев, Н. Г. Мамедов, Муганская топонимическая экспедиция, ОК.

[6] Дж. Н. Коков, Кабардинские географические названия, Нальчик, 1966; Дж. Н. Коков, С. О. Шахмурзаев, Балкарский топонимический словарь, Нальчик, 1970.

[7] А. А. Глонти, Топонимические разыскания, I, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).

[8] Р. М. Юзбашев, Научные основы топонимического словаря, МТА.

[9] Т. Х. Акопян, Об энциклопедическом словаре географических названий Армении, ВКТ.

[10] А. Д. Цагаева, Топонимия Северной Осетии, Орджоникидзе, 1971, 240 стр.

[11] Р. М. Юзбашев, Характеристика современной азербайджанской топонимии, сб. «Топонимика Востока», М., 1969; его же, О некоторых чертах топонимики Азербайджана, «Изв. АН АзербССР», Серия наук о земле, 1968, 1.

[12] С. М. Хайдаков, Топонимы арчинской языковой территории, «Топонимика Востока».

[13] В. Ш. Джоджуа, Грузинские топонимы в греческих памятниках, сб. «Топонимика», I («Труды Топонимической лаборатории Тбилисск. гос. ун-та») (на груз. яз.; в печати).

пийского моря [14] — впрочем, немногих (а их насчитывают 70); к топонимам Азербайджана из источников I в. до н. э.— VIII в. н. э. привлек внимание К. Г. Алиев [15]; новое о топонимических свидетельствах Вахушти (XVIII в.) добавил А. А. Глонти [16].

Попытки локализовать исторические топонимы особенно интенсивны в Армении (письменные свидетельства дошли еще из III—II тыс. до н. э.). Пылают споры о том, где находились города и страны — от глубокой древности (Хайаса, Наири) до позднего средневековья [17]. Аналогичные работы есть по Грузии [18]. Локализацию нескольких сотен древних топонимов оценивает И. М. Дьяконов, предостерегая от бездоказательных сопоставлений, которые «основаны только на сходстве некоторых топонимов и плохо вяжутся с данными источников»: «сходство названий, разделенных большим промежутком времени, чаще всего является свидетельством случайности этого сходства», ведь древний топоним не мог бы не измениться [19]. Идентификация похожих топонимов, не опирающаяся на закономерности исторической фонетики, обречена на неудачу.

Термины «тюркский пласт», «иранский пласт» часты на страницах многих работ, но подлинно научная стратиграфия топонимики Кавказа пока еще впереди. Ираноязычные топонимы возникали на протяжении тысячелетий, их нельзя представлять единым пластом. И тюркских волн прокатилось немало. Те и другие не раз перемежались. Топонимию грузинского происхождения напрасно представлять неизменной с периода «древнегрузинского языка по настоящее время», как полагает Т. Д. Зурабишвили [20],— происходили изменения, некоторые из них показал С. Г. Каухчишвили [21]. Важна попытка М. Османова выделить признаки исторических пластов в даргинской топонимии Дагестана [22], полезно обсудить этот опыт

---

[14] Ч. Мирзазаде, Топоним *Азербайджан* в разноязычных источниках, «Уч. зап. Азерб. гос. ун-та», 1, Баку, 1973; ее же, О нескольких названиях Каспийского моря, ОК.

[15] К. Г. Алиев, О древней топонимике Кавказского Азербайджана, ВКТ.

[16] А. А. Глонти, Топонимические материалы грузинского историка и географа Вахушти Багратиони в свете новых записей, сб. «Питання ономастики», Київ, 1965.

[17] Г. Г. Гиоргадзе, К вопросу о локализации и языковой структуре каскских этнических и географических названий, «Переднеазиатский сборник», М., 1961; Б. Н. Аракелян, Где находились города Ервандашат и Ервандакерт?, ИФЖ, 1965, 3 (на арм. яз.); Г. А. Меликшвили, Ассирия и «страны Наири» на рубеже XII—XI вв. до н. э., ВДИ, 1963, 2; Г. М. Григорян, К вопросу о локализации ряда сел исторического Сюника, ИФЖ, 1966, 4 (на арм. яз.); Ф. И. Тер-Мартиросов, О стране Наири-Хубушкия, ИФЖ, 1972, 2; В. Н. Хачатрян, Хайаса и Наири, «Вестн. обществ. наук АН АрмССР», Ереван, 1973, 11; В. М. Варданян, Марды в Васпуркане, ИФЖ, 1971, 3 (на арм. яз.); его же, О некоторых топонимах, встречающихся в «Истории дома Арцруни», ИФЖ, 1973, 1 (на арм. яз.).

[18] Р. В. Гордезиани, Αἶα в древнейших греческих источниках, «Античность и современность», М., 1972; Р. К. Кикнадзе, Одно географическое название у грузинского анонимного историка XIV в., «Грузинское источниковедение», IV, Тбилиси, 1973 (на груз. яз.); И. Сихарулидзе, Материалы по исторической географии Гурии, «Сборник по исторической географии Грузии», Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); К. Харадзе, Древнегрузинские топонимы Триалети, «Мацне», 1972, 2 (на груз. яз.); его же, К локализации некоторых топонимов, «Сообщ. АН ГрузССР», 1973, 3 (на груз. яз.); К. Мушкудиани, Название Лечхуми, «Мнатоби», 1972, 1 (на груз. яз.); Д. Ломишвили, О Жалетии и Чалетии, «Мнатоби», 1972, 3 (на груз. яз.).

[19] И. М. Дьяконов, Предыстория армянского народа, Ереван, 1968, стр. 83, 198.

[20] Т. Д. Зурабишвили, К изучению грузинской топонимики, «Вопросы структуры картвельских языков», 2, Тбилиси, 1961, стр. 158 (на груз. яз.).

[21] С. Г. Каухчишвили, Материалы по исторической географии и их значение для уточнения топонимики, ВКТ.

[22] М. Османов, Некоторые вопросы даргинской топонимики, «Уч. зап. ИЯЛ им. Г. Цадасы», XIV, Махачкала, 1965.

топонимистам Кавказа. Поиск надежных стратиграфирующих признаков (семантических, формальных) в топонимии нелегок, но обязателен.

В топонимах ГрузССР по склонам и долинам Главного Кавказского хребта встречается компонент *-ква*, сочетание *-пс-* и некоторые другие элементы, возможно, праадыгские по происхождению [23], хотя они могли проникнуть туда и позже. Ряд топонимов неизвестного происхождения в Пшавском ущелье обнаружила П. Н. Макалатиа [24]; Дж. Н. Коков, насчитав в Балкарии больше 60 топонимов, которым не нашел этимологии ни балкарской, ни осетинской, заключил: «видимо, субстратны». По подсчетам А. Д. Цагаевой, в Северной Осетии 721 топоним неизвестного происхождения из всех 8326.

О параллелях в топонимии Кавказа крайне мало новых работ — только статья Э. М. Мурзаева на материале топонимов из нарицательных географических терминов [25], работы Ш. Д. Инал-Ипа, С. С. Губаевой [26].

Почти нет работ и по новейшим топонимическим пластам. Всего две статьи по русской топонимии Кавказа [27], хотя она огромна (и не только на Северном Кавказе, а и в Закавказье) и одна — по топонимии советского периода в Армении [28]. Топонимы, возникающие на глазах,— замечательный материал для вскрытия закономерностей называния. Топонимисты Кавказа недостаточно популяризуют новые названия, которые без этого теряют свою воспитательную ценность. Непростительно обходить молчанием неудачи, нередкие в массе названий, даваемых без участия топонимистов.

Обильны работы по этимологии топонимов. Происхождение сотен кабардинских и балкарских топонимов объяснено в двух названных словарях, за десятилетие даны многие этимологии адыгейских [29], грузинских [30], абхазских [31], лезгинских [32], лакских [33], даргинских [34], азербайджанских [35]; серию статей о происхождении топонимов Азербайджана опубликовал А. Гусейнзаде [36]; тюркские топонимы юга Грузии этимологизировал Г. Ализаде [37]. Этимологии многих топонимов Кавказа собраны в моем сло-

---

[23] Ш. Д. Инал-Ипа, Об этногенезе абхазских племен, М., 1964, стр. 5. Ранее на это указывал С. Н. Джанашиа.

[24] П. Н. Макалатиа, Топонимы неизвестной структуры и семантики, «Мацне». Серия языка и литературы, Тбилиси, 1971, 1 (на груз. яз.).

[25] Э. М. Мурзаев, Кавказские географические термины и их параллели, ОК.

[26] С. С. Губаева, Некоторые кавказо-ферганские топонимические параллели, ОК; ее же, Этнонимы и топонимы Ферганской долины. КД, М., 1974.

[27] Г. А. Оруджев, О появлении русских топонимов в Азербайджане, МТА; Л. Г. Гулиева, Некоторые наблюдения над гидронимией Кубани, сб. «Вопросы изучения русского языка», Краснодар, 1965.

[28] Х. А. Авдалбекян, Наименования населенных пунктов Советской Армении, «Вестн. обществ. наук АН АрмССР», 1971, 11.

[29] К. Х. Меретуков, Из топонимии Северо-Западного Кавказа, «Уч. зап. Адыг. НИИ», XII, Майкоп, 1970; его же, Из топонимики и гидронимики Адыгеи, там же, XIV, 1972; его же, К вопросу о толковании некоторых адыгейских топонимических названий Черноморского побережья, «I научная конференция молодых ученых Адыгеи», Майкоп, 1970.

[30] А. Л. Чинчареули, Один грузинский гидроним, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 142, 1972 (на груз. яз.).

[31] Г. З. Шакирбай, Значение основы *ква* в топонимии Абхазии, сб. «Этнография имен», М., 1971 (далее — ЭИ).

[32] С. М. Хайдаков, Морфологическая структура и семантическая природа аульных названий Табасарана, ВКТ.

[33] И. Х. Абдуллаев, указ. соч., стр. 157—160.

[34] М. Османов, указ. соч.

[35] А. Г. Трофимова, Заметка о трех топонимах Азербайджанской ССР, ОК.

[36] См.: журн. «Советская тюркология», 1970, 3; 1971, 2 и 6; 1972, 5; 1973, 3.

[37] Г. Ализаде, Изучение тюркоязычных названий населенных пунктов Дманисского района Грузинской ССР, МТА.

варе [38]; пользуюсь случаем заметить, что среди дополнений и замен, накопленных за годы после выхода словаря, многое относится и к Кавказу, например, к названию *Тбилиси*: этимология из этнонима убедительней, чем приведенная мной господствовавшая. Длится спор и о происхождении названия столицы Азербайджана [39]. Многим топонимам найдены новые этимологии или переобоснованы прежние (*Апшерон*, *Майкоп*, *Сухуми* и др.) [40]. Раскрыты этимологические значения множества микротопонимов — абхазских [41], аджарских [42], хевсурских [43], аварских [44], талышских [45]; Т. Беридзе собрал и описал старинные (XI—XVIII вв.) микротопонимы в Тбилиси [46]. В ранее известные значения мнимо-цветовых тюркских топонимов внес существенные добавления М. Сейидов [47], а Э. К. Мехралиев выявил даже 15 различных значений их [48]!

Не все предложенные этимологии бесспорны; некоторые — только гипотезы, обсуждение которых может приблизить к решению. Нередки и любительские домыслы. Немало примеров их привела З. Д. Цховребова [49]. Случается, что в научном географическом журнале серьезные этимологии без разбору перемешаны с наивными [50], как и в оронимическом словарике Кабардино-Балкарии [51]. К древнегреческому гидрониму *Антикитос* (р. Кубань) Г. Ф. Турчанинов без доказательств привязал цепочку воображаемых «изменений», якобы из адыг. *Адыгета* «место абхазов» <(?) абхаз. *Адзыгата* «быстрая» [52]; Л. И. Лавров в рецензии мягко оценил это «вольным обращением с лингвистическими фактами» [53]. Еще хуже, когда научные «Труды» всерьез объясняют топоним *Эльбрус* из тюрк. *Эл буз* «страну разрушающий»: топоним будто бы возник, «когда вулкан еще был действующим и своей смертоносной лавой разрушал все окружающее» [54]. Эль-

[38] В. А. Никонов, Краткий топонимический словарь, М., 1966.

[39] С. Б. Ашурбейли, О датировке и названии г. Баку, в ее кн.: «Очерки по истории средневекового Баку», Баку, 1964.

[40] Р. М. Юзбашев, О происхождении названия Апшеронского полуострова, «География в школе», 1968, 6; К. Х. Меретуков, К этимологии названия *Майкоп*, ОК; Г. З. Шакирбай, Значение основы *кеа* в топонимии Абхазии, ЭИ; Р. Гордезиани, К этимологии термина Фазис, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 140, 1971 (на груз. яз.); И. Г. Добродомов, О происхождении названия *Тъмуторокань*, «Русская речь», 1973, 5.

[41] Х. С. Бгажба, Бзыбский диалект абхазского языка, Тбилиси, 1964, стр. 252—269; Ш. Д. Инал-Ипа, Страницы исторической этнографии абхазов, Сухуми, 1971.

[42] М. Х. Партенадзе, Микротопонимика Аджарской АССР, отражающая эпоху турецкого ига, ВКТ.

[43] Г. И. Хорнаули, К этимологии некоторых топонимов, «XVI научная сессия филол. фак-та Тбилисского ун-та», Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).

[44] М. Саидов, Аварско-русский словарь, М., 1967 (Приложение «Микротопонимы по селениям)».

[45] М. А. Мамедов, О талышских топонимах, ИМА.

[46] Т. Беридзе, Старинные тбилисские микротопонимы, «Мнатоби», Тбилиси, 1971, 8 (на груз. яз.).

[47] М. Сейидов, Некоторые замечания о происхождении этнонимов Аггоюнлу и Гарагоюнлу, МТА.

[48] Э. К. Мехралиев, Сущность и локальные изменения терминов *кара* и *аг* в географических названиях, МТА.

[49] З. Д. Цховребова, Еще раз о топонимии Южной Осетии, «Изв. Юго-Осетинского НИИ», XVII, Цхинвали, 1971.

[50] Т. В. Жило, А. Н. Косарев. Топонимика некоторых географических названий побережья Каспийского моря, «Вестник МГУ», Серия V — География, 1966.

[51] П. С. Рототаев, Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии, Нальчик, 1969.

[52] Г. Ф. Турчанинов, Древнейший письменный памятник Кавказа, ВДИ, 1966, 2, стр. 96.

[53] «Советская этнография», 1967, 2, стр. 204.

[54] Х. И. Ходжилаев, К топонимике Карачая, «Труды Карачаево-Черкесского НИИ», Серия историческая, 6, Ставрополь, 1970, стр. 384—385; его же, Очерки карачаево-черкесской лексикологии, Черкесск, 1970, стр. 26.

брус прекратил извержения в начале четвертичного периода, до возникновения не только современных тюркских языков, а и самого человечества. Столь же ненаучен и характер полемики по вопросу о происхождении топонимов Грузии на *-иси* [55], вызвавший трезвое выступление акад. Г. В. Церетели [56].

Нередко за семантическую классификацию топонимов выдают сортировку их по значениям тех лексических основ, от которых они образованы, на группы «по животным», «по растениям», «от исторических событий», «из личных имен» и т. п., подменяя и перечеркивая подлинную семантику топонимов (принадлежностные, по признаку объекта, посвящения). Серьезный ученый, специалист по экономической географии Закавказья, попутно опубликовал о топонимии несколько статей и даже брошюру; дав сортировку топонимов, аналогичную приведенной, он снабдил ее странным утверждением: «Часть топонимии, подвергшись сильным изменениям, не подчиняется правилам языкознания» (МТА, стр. 115—116). Никогда никакие «правила языкознания» не диктовали изменений; если же автор подразумевал законы языка, то они объективны (языкознание их не создает, а обнаруживает) и неумолимы (видимые «исключения» — столкновения противоположно действующих законов). Именно по ним изменяются топонимы, как и все слова.

Способы и средства топонимического словообразования привлекли внимание многих топонимистов Кавказа. Они широко разработаны в диссертации П. А. Цхадая «Топонимия Горной Мегрелии» (Тбилиси, 1975). Формантам отвела главную часть своей статьи Т. Д. Зурабишвили, хотя некоторые мнения ее ошибочны, например: «каждый тип словообразования связан с определенной семантической группой» [57]. Такой закрепленности нет: нередко одинаковая форма служит разным значениям, а одно и то же значение выражено разными формами. Для анализа словообразования грузинских топонимов неоценим обратный словарь их, составленный неутомимыми грузинскими топонимистками Ш. Т. Апридонидзе и П. Н. Макалатиа: издание его необходимо ускорить. Специальные статьи рассматривают словообразование топонимов Аджарии и Джавахетии [58]. Многие работы посвящены отдельным формантам: в грузинской топонимии — префиксу *на-*, суффиксам *-ур*, *-иш* [59], составным суффиксам [60], средствам выражения множественности [61], в абхазской топонимии — элементам *пс*,

---

[55] П. М. Мурадян, Винительные формы в именительном по данным топонимики, «Вестн. обществ. наук АН АрмССР», 1971, 4; А. Ониани, З. Сарджвелидзе, Против извращения вопросов грузинской ономастики, «Мацне», 1971, 3; Р. В. Гордезиани, По поводу «новой» интерпретации грузинских топонимов, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 148, 1972.

[56] Г. В. Церетели, Письмо в редакцию, «Мацне», 1972, 4.

[57] Т. Д. Зурабишвили, указ. соч., стр. 159.

[58] Ш. Нижарадзе, Топонимия Аджарии, «Труды Батумского пед. ин-та», XV, 1969 (на груз. яз.); Г. Беридзе, Образование топонимов Джавахетии, «Мацне», Серия языка и литературы, 1972, 11 (на груз. яз.).

[59] А. Г. Шанидзе, Значение префикса *на-* географических названий Мегрелии, «Мацне», 1972, 3 (на груз. яз.); П. А. Цхадая, Функция префикса *на-* в антропонимах горной Мегрелии, там же, 1974, 1 (на груз. яз.); Г. И. Хорнаули, Функция суффикса *-ур-* по мтиулетским топонимическим материалам, там же, 1973, 3 (на груз. яз.); М. М. Калдани, К вопросу о суффиксе *-иш* в лечхумской географической номенклатуре, «Вопросы структуры картвельских языков», 3, Тбилиси, 1963 (на груз. яз.); П. А. Цхадая, Суффиксы *-иш/-ис* в топонимии горной Мегрелии, «XVII научная сессия филол. фак-та Тбилисск. ун-та», Тбилиси, 1974 (на груз. яз.).

[60] Г. В. Бедошвили, Вопросы эрцо-тианетской макротопонимии, «Мацне», 1972, 2 (на груз. яз.).

[61] П. Н. Макалатиа, О топонимической функции суффиксов множественности, там же, 1974, 4 (на груз. яз.).

-пша, *-рха* [62], в азербайджанской — компонентам *-ван*, *-дан*, *-хани* [63]. Разнообразны работы и по другим формам топонимов [64]. Изучение словообразования дагестанской топонимии начато трудами С. М. Хайдакова [65] и М. Х. Абдуллаева [66]. Э. А. Григорян рассмотрел словообразование 915 названий улиц Еревана — из них 31% трехсловны, 12% состоят из четырех и пяти слов; абсолютно преобладают существительные в родительном падеже (1974 г., рукопись).

Исследования по словообразованию ослаблены несколькими недостатками. Многие смешивают анализ образования топонимов с морфологическим разбором, при этом к аффиксации или словосложению относят топонимы, в которых аффикс или словосложение принадлежит еще дотопонимической основе, или же включают в безаффиксные топонимы «минусового» образования.

Только в Тбилисской топонимической лаборатории начали картографировать форманты топонимов, а картографировать способы словообразования еще не пробовали и там. Именно карта поставила бы такие вопросы, как топонимические ареалы компонентов *рипш* (*Гульрипш*), *кент* (в Азербайджане, Грузии и, возможно, в Армении) и др. Наконец, за редкими исключениями (Т. Д. Зурабишвили, П. Н. Макалатиа) игнорируют порядок компонентов. А он важен. К примеру, компонент *диди* «большой» распространен по всей Грузии в препозиции грузинских топонимов, а в постпозиции (*Зугдиди*) есть только семь случаев, из них шесть исключительно в Аджарии и смежных районах.

Не радует поток локальных топонимических описаний. Они рождены заблуждением, будто местноограниченная тема самая легкая. Как раз наоборот! Перед автором локального описания — топонимия всех языковых семей избранной территории (включая языки неизвестные), разных эпох, разных типов. Изучить это невозможно; ограниченный пределами описываемой местности, он не заметит даже главного, видного лишь при большом кругозоре: топонимию каждой территории характеризует именно то, чем она связана с другими территориями и чем отличается от них, особенно тем, чего на ней нет. Лучше взять одну проблему или один пласт; тематическая устремленность оправдает и региональные границы [67].

Остаются неизученными на Кавказе специфические черты топонимии горных территорий, топонимы со значениями «теневая сторона», «солнце-

---

[62] Х. С. Бгажба, указ. соч., стр. 267—269.

[63] И. Г. Абдуллаев, К этимологии географических названий, содержащих формант *-ван*, «Всесоюзная научная конференция по тюркским языкам» (тезисы), Баку, 1969; Г. А. Гейбулаев, Компоненты *дан* и *хани* в топонимии Азербайджана, «Материалы к Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1969 г.», Баку, 1970.

[64] А. К. Чкадуа, К анализу некоторых сложносоставных топонимов бассейна р. Хаишури, «VIII Республиканская научно-методическая конференция кафедр грузинского языка», Кутаиси, 1970 (на груз. яз.); П. А. Цхадая, Причастие будущего времени в топонимии горной Мегрелии, «Сообщ. АН ГрузССР», Тбилиси, 1913, 1 (на груз. яз.).

[65] С. М. Хайдаков, Некоторые вопросы, связанные с изучением топонимики Дагестана, «Топонимика Востока», М., 1962; его же, Глагол в лакских топонимах, «Топонимика Востока», М., 1964.

[66] И. Х. Абдуллаев, Об одной группе лакских аульных названий, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 142, 1972; его же, Словообразовательные модели ойконимов Дагестана, ОК; его же, Словообразование табасаранских названий аулов, ОК.

[67] П. Н. Макалатиа, Индикаторы в топонимах Пшави-Арагвинского ущелья, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 143, 1972 (на груз. яз.); Г. И. Хорнаули, Занизмы в топонимии Мтиалети — Гудамскири, «Археологический сборник, посвященный раскопкам Жинвали» (в печати); В. Б. Виноградов, К. З. Чокаев, Иранские элементы в топонимии и гидронимии Чечено-Ингушетии, «Сборник статей по вопросам нахского языкознания», Грозный, 1966; Т. А. Гуриев, Топонимы монгольского происхождения в Северной Осетии, «Исследования по восточной филологии», М., 1974.

пек». Из топонимистов Кавказа только Б. А. Будагов учел, что при горном рельефе ареалы различаются не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости (МТА, стр. 66; ранее об этом см.: ВЯ, 1961, 2, стр. 142); он же наметил специфику одного разряда оронимов (к огорчению, заслонив ее неумелой сортировкой) [68].

В помощь сбору топонимов, остающемуся первой и главной задачей, И. Л. Майсурадзе составил полезный, очень сжатый вопросник, с немногими практическими советами и примерами карточек [69].

Не сняты заботы прикладные, транскрипция топонимов и передача их с одного языка на другой. Трудно мириться, что порой «название задыхается под искаженной записью» [70]: *Щхьэлыкъуэ* «мельничная балка» превратилось в *Шалушка*, а *Къанжол* в *Кинжал*. На азербайджанской топонимической конференции девять докладов были отведены транскрипции (МТА, стр. 42—53), приведены многие примеры грубых искажений; Р. М. Юзбашев, Н. Г. Мамедов, А. Г. Гасанов, Б. Т. Абдуллаев разработали типологию ошибок на картах, в учебниках и официальных справочниках; А. Р. Михайлов представил на обсуждение фонетическую основу русской передачи азербайджанских топонимов. Изданные в предыдущие годы Главным управлением геодезии и картографии (в системе которого давно работает Отдел географических названий) «Инструкции по передаче географических названий» за последнее десятилетие пополнились Инструкцией по передаче осетинских топонимов [71]. Издано ценное собрание словарных основ дагестанской топонимии [72].

Передача топонимов с одного языка на другой не проста. Никакие рецепты не помогут, если нет теоретической базы. Фонетический барьер — еще не главная трудность. Передавать ли форму или этимологическое значение и если форму, то ближе к произношению или к написанию? Терпеть ли искажение, если оно стало привычным? Споры бесплодны и рецепты напрасны, если не положить в основу научный принцип, исходящий из соотношения трех планов значений (дотопонимического, топонимического, оттопонимического).

2. Этнонимика. Бедней изучена этнонимия, столь обильная на Кавказе. Этнонимы Кавказа еще не все собраны. В Дагестане их частично собирала экспедиция 1964 г. Изучать историю этнонимов Кавказа и их происхожение лингвисты оставляют историкам, историки — лингвистам. Даже в таком труде, как «Восточные провинции Хеттской империи» В. Н. Хачатряна при множестве топонимов, антропонимов, теонимов почти отсутствуют этнонимы, поскольку, следуя источникам, автор в каждом случае упоминает не народ, а страну [73].

По этнонимике Кавказа наиболее значительны работы Н. Г. Волковой [74], учитывающей, что один этноним может обозначать разные народы, а один и тот же народ бывает известен под разными этнонимами. Исследовательница избегала этимологий. Собранный материал огромен. К книге

[68] Б. А. Будагов, О некоторых названиях грязевых вулканов Восточного Закавказья, МТА.

[69] «Инструкции по записи топонимических материалов», Тбилиси, 1970 (на груз. яз.).

[70] Дж. Н. Коков, Кабардинские географические названия, Нальчик, 1966, стр. 19.

[71] «Инструкция по передаче на картах осетинских географических названий» (состав. Л. И. Розова), М., 1963. Инструкции по абхазским, азербайджанским, армянским, грузинским, дагестанским топонимам изданы раньше.

[72] Е. Н. Бушуева, Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Дагестанской АССР, М., 1972.

[73] В. Н. Хачатрян, Восточные провинции Хеттской империи, Ереван, 1971.

[74] Н. Г. Волкова, Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 1973; ее же. Из северокавказской этнонимии, ОК.

приложена интересная таблица: как народы Кавказа именуют друг друга. От списка литературы, содержащего 266 заглавий, несправедливо требовать большего, досадны тем не менее важнейшие упущения: восточнокавказский узел этнонимов, распутанный И. Х. Абдуллаевым и К. Ш. Микаиловым [75], по западному Кавказу — широкая картина, очерченная Ю. В. Зыцарем [76]; среди приведенных работ Л. И. Лаврова нет нужнейших этнонимических, перечисляющих этнонимы северо-западного Кавказа с финальным *-т* (*меоты*, *тореты*, *керкеты* и мн. др.) [77] — происхождение этого ряда неизвестно, да и едва ли все они самоназвания, но каждое из них нельзя рассматривать вне этого ряда (даже если оно возникло не в нем, а лишь включено в него называющими со стороны). Этноним — слово и, как все слова, подлежит анализу лингвистическому, без которого не решить загадок этнической истории.

На Кавказе с древностью его письменных памятников исследователей особенно привлекает отождествление этнонимов, зафиксированных в древних источниках, с современными. При этом «похожие» этнонимы прошлого чаще оказываются ложными ориентирами — только звуковыми совпадениями. Пришлось отказаться от гипотезы, возводившей наименование армян к Арме или Урме, названию государства II—I тыс. до н. э., находившегося восточней оз. Ван; сомнительна и связь армянского этнонима *Хайк* с государством Хайаса. «Очевидно, в наших сведениях имеются какие-то пробелы, или предки армянского народа скрываются в наших источниках под какими-то нетождественными обозначениями»,— отметил И. М. Дьяконов [78]. В своей книге он не раз предостерегает от установления этнических связей на основе сходства этнонимов. И. М. Дьяконов указал также на ошибки в чтении этнонимов, отметил графический детерминатив этнонимов; при ближайшем рассмотрении некоторые этнонимы оказались нарицательными именами [79]. Могут получить признание и остаться в этнонимике отдельные наблюдения: связь этнонимов на *-ини*, *-хи* с языком хурритов и урартов, происхождение этнонима *мегрел* из названия местности (а не наоборот). И, конечно, обращающийся к этнонимии народов Кавказа оценит обширный «Указатель названий племен и народов», сопровождающий книгу И. М. Дьяконова. Означал ли этноним *абешлайцы* предков абхазов, а *каски* — касогов, предков армян ли называли древние греки этнонимом *мелитяне*, почему грузины называют армян *сомехи*? Пока основная ценность споров — критика ошибок.

Б. А. Улубабян видит в наименованиях кавказской Албании и албанцев Балкан, Шотландии и других горных стран кельтскую основу *alb* «гора»; он прослеживает дальнейшую судьбу кавказского названия, меняющего и обозначаемый объект, и фонетический облик [80]. По А. В. Урушадзе, потомки кавказских албан — мегрелы; спорность этого не снимает ценности его наблюдений над документальной историей этнонима *мегрелы* [81]. Ценные замечания по этнонимии Кавказа заключены в статьях Л. И. Лаврова [82].

---

[75] И. Х. Абдуллаев, К. Ш. Микаилов, К истории дагестанских этнонимов *лезг* и *лак*, ЭИ.

[76] Ю. В. Зыцарь, О родстве баскского языка с кавказскими, ВЯ, 1955, 5.

[77] Л. И. Лавров, Письмо в редакцию, «Советская этнография», 1967, 2, стр. 204.

[78] И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 189.

[79] Там же, стр. 102—108, 78, 66.

[80] Б. А. Улубабян, Топонимы Албании, Агванк и Аран, ИФЖ, 1971, 3 (на арм. яз.). О тех же названиях см.: Ю. Б. Юсифов, О названиях Албании и Аррана, «Изв. АН АзербССР», Серия обществ. наук, 1961, 10.

[81] А. В. Урушадзе, Об одном сообщении византийского сборника, сб. «Античность и современность», М., 1972.

[82] Л. И. Лавров, К истории бжедухов и жанеевцев, «Уч. зап. Адыгейск. НИИ»,

О нахских этнонимах написал К. З. Чокаев [83], ряд этнонимов рассмотрели в указанных топонимических работах Дж. Н. Коков (*адыге*, *кабардинцы*, *черкесы*), П. Н. Макалатиа (*пшави*, *пхови*). Основываясь на анализе этнонима *гелы*, З. И. Ямпольский высказал несколько теоретических положений по этнонимике [84]. Прослежена история и этимология этнонима *тат* [85].

Часты работы, извлекающие этнонимы из топонимов [86],— путь нелучший, нелегкий и ненадежный, но при скудности иных источников неизбежный.

3. Антропонимика. Главное событие в антропонимике Кавказа — завершение исторического и этимологического словаря армянских личных имен акад. Р. А. Ачаряна (1876—1953). Словарь выходил с 1942 г., заключительный V том издан посмертно, в 1962 г. [87], весь словарь включил 5285 имен с обстоятельной документацией каждого.

На современном научном уровне выполнено исследование Дж. Н. Кокова по черкесской антропонимике, содержащее подсчеты частотности имен в их динамике, прямой и обратный словники имен (около 2000 мужских и 1000 женских), некоторые сопровождены этимологиями) [88].

Немало труда вложено и в словарь картвельских личных имен А. А. Глонти [89]: больше 11 000 имен с указанием территории употребления собраны по документам нескольких столетий и по записям непосредственно на местах. Отметив во введении, что лишь отрывочно сохранившиеся дохристианские имена никто не пытался собрать, составитель отказался от попыток этимологизации и подчеркнул, что это еще не словарь, а материалы для будущего словаря.

Общее представление о составе и истории личных имен у чеченцев и ингушей дает книга Н. Г. Ахриева [90], а у некоторых других народов

IV, Краснодар, 1965; его же, Об интерпретации Ш. Б. Ногмоновым кабардинского фольклора, «Советская этнография», 1969, 2; его же, Исчезнувшее адыгское племя Собай, сб. «Из истории Карачаево-Черкессии», VI, Ставрополь, 1970.

[83] К. З. Чокаев, Некоторые древние этнонимы в нахских языках, ОК.

[84] З. И. Ямпольский. Древнеазербайджанский этноним *гелы* и этнические закономерности, МТА.

[85] М. И. Гаджиев, Т. М. Ахмедов. Об этнониме *тат*, «Материалы к сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1970 г. в Азербайджане», Баку, 1971, стр. 56—57; Ф. Д. Люшкевич, Термин *тат* как этноним в Средней Азии, Иране и Закавказье, «Советская этнография», 1971, 2.

[86] К. Г. Алиев, Топонимика об этногенезе на территории Азербайджана, «Материалы сессии по проблеме происхождения и формирования азербайджанского народа», VII, Баку, 1966; его же, Древнее население Азербайджана по данным топонимии, МТА; С. Б. Ашурбейли, Топонимика Апшерона в связи с вопросами этногенеза азербайджанцев, «Изв. АН АзербССР». Серия истории, 1967, 2; А. Гусейнзаде, Следы племенных названий в современной топонимии Азербайджана, там же, 1973, 9; Г. А. Гейбуллаев, Этнотопонимы Азербайджана, «Материалы к сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1970 г. в Азербайджане»; его же, Об этнонимах в топонимии Азербайджана, МТА; Л. Гулиева, Некоторые топонимы с этнонимическими основами на Кубани, сб. «Этнонимы», М., 1970; Р. Керимли, А. Алиев, О некоторых этнотопонимах, МТА; А. Фазили, О топониме Мугань, МТА; Х. Л. Магомедов, Тюркские этнонимы в топонимии Дагестана, ОК; А. Д. Цагаева, указ. соч., стр. 179—188 (гл. «Этнонимы в топонимии»); К. З. Чокаев, Из топонимии Чечено-Ингушетии, ОК; Р. М. Юзбашев, О происхождении названия Апшеронский полуостров, «География в школе», 1968, 6; Ю. Б. Юсифов, Топонимия как исторический источник, МТА.

[87] Р. А. Ачарян, Словарь армянских личных имен, V, Ереван, 1962 (на арм. яз.).

[88] Дж. Н. Коков, Вопросы адыгской (черкесской) антропонимии, Нальчик, 1973.

[89] А. А. Глонти, Картвельские собственные имена, Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).

[90] Н. Г. Ахриев, Чечено-ингушская антропонимия, Грозный (в печати).

Кавказа — ряд статей, в том числе у грузин [91], армян [92], абхазов [93], адыгских народов [94], дагестанцев [95], халаджей в Азербайджане [96]. Конечно, уровень этих работ зависит от того, насколько разработаны отдельные антропонимические проблемы и среди них — вопрос об исторических пластах. Личные имена ираноязычного происхождения у армян исследовал Г. М. Налбандян [97]; об ираноязычных именах у грузин доложила М. И. Андроникашвили на научной востоковедческой сессии памяти Г. С. Ахвледиани (Тбилиси, 1974). Тюркоязычные личные имена грузин изучила М. С. Джикия, составив при этом словарик имен [98]. Богатый адыгейский материал разработан З. У. Блягозом [99]. Значителен вклад, внесенный в антропонимику тюркоязычных народов Н. А. Баскаковым: к изданным им двуязычным словарям приложены списки личных имен, по Кавказу — ногайских имен [100]. Сделаны попытки показать прошлое осетинской, адыгской, азербайджанской антропонимии [101]. Лежит без движения богатый, но сырой материал по чеченской и ингушской антропонимии, собранный А. Сулеймановым. В планы дагестанского филиала Академии наук на следующее пятилетие включены темы Т. Г. Таймасхановой «Кумыкская антропонимия» и К. Ш. Микаилова «Аваро-андоцезская антропонимия».

Драгоценные данные исторической антропонимии армян и соседних народов приведены на многих страницах книги И. М. Дьяконова. Основываясь на подсчетах личных имен, он устанавливает этнический состав городов Передней Азии II тыс. до н. э., вскрывает социальные различия именований [102]. В другой работе ученого приведено больше 30 антропонимов из клинописных табличек VIII—VII вв. до н. э., в основном по раскопкам в Ереване и смежных районах [103]. Перечень древнейших личных имен в Армении приведен в книге В. Н. Хачатряна «Восточные провинции Хеттской империи».

Этимологии многих имен, употребляемых и на Кавказе, представлены в словарике А. Г. Гафурова [104]. Интересные антропонимические наблюдения включил Х. С. Бгажба в свою книгу о бзыбском диалекте абхазского языка [105], но в этимологизацию мусульманских имен он не внес ничего за исключением ошибок; безусловно *Асланыка* не «сын льва», а «сын Аслана»; женскому имени *Шамсия* автор приписал турецкое происхождение — из *šemsiye* «зонтик», но это женское личное имя арабского происхождения

---

[91] М. С. Николайшвили, Некоторые черты грузинских антропонимов, ОК.

[92] А. И. Тер-Саркисянц, Из антропонимии армян, ОК.

[93] Г. В. Цулая, Об абхазской антропонимии, ЭИ.

[94] З. Ю. Кумахова, О составе исконных личных имен в адыгских языках, сб. «Антропонимика», М., 1970; Г. Х. Мамбетов, К истории адыгских имен, «Вест. Кабардино-Балкарск. НИИ», 3, Нальчик, 1970.

[95] И. Х. Абдуллаев, Некоторые вопросы дагестанской антропонимии, сб. «Личные имена», М., 1970; П. А. Саидова, К вопросу об антропонимии аварцев, ОК.

[96] М. А. Мамедов, Личные имена ираноязычных халаджей в Азербайджане, ОК.

[97] Г. М. Налбандян, Армянские личные имена иранского происхождения, АДД, Тбилиси, 1971.

[98] М. С. Джикия, Антропонимы тюркского происхождения у грузин, сб. «Восточная филология», III, Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).

[99] З. У. Блягоз, Возникновение некоторых адыгейских имен и прозвищ, ОК.

[100] «Ногайско-русский словарь», под ред. Н. А. Баскакова, сост. С. Калмыкова, М., 1963.

[101] Т. З. Козырева, Осетинская антропонимия древнего и средневекового периода, ОК; Г. Х. Мамбетов, К истории адыгских имен, «Вестн. Кабардино-Балкарск. НИИ», 3, Нальчик, 1970; З. А. Садыхов, Из истории азербайджанских личных имен, ОК.

[102] И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 40—41, 44, 51, 86, 101.

[103] И. М. Дьяконов, Урартские письма и документы, М.— Л., 1963, стр. 94—95.

[104] А. Г. Гафуров, Лев и Кипарис, М., 1971, стр. 155—239.

[105] Х. С. Бгажба, указ. соч., стр. 233—251.

(араб. *Шамси* «солнечный»). Этимологию азербайджанских личных имен предложил К. Т. Рамазанов [106], к сожалению, с трафаретной группировкой их по лексическим значениям основ, ошибочно выдаваемой за семантическую классификацию личных имен. Именам *Шир* или *Аслан* (иран. и тюрк. «лев») место не в семантической группе «по животным», а в группе пожеланий силы и смелости (вместе с именем *Булат* и т. п.). Сортировка по лексическим значениям имен не только не раскрывает их семантику, а совершенно затемняет ее.

Остро актуально изучение выбора имен. В Дагестане этому посвящена работа У. А. Мейлановой [107], в Азербайджане — статья Ш. М. Саадиева, который правильно отделил в сложившихся традициях отрицательное от положительного [108]. Подлинные мотивы выбора остаются неизученными, не выработан и метод исследования, во всяком случае анкета не годится. Влияют ли этимологические значения (или: известны ли они?) и, если — да, то в какой мере? Этого никто не только не подсчитал, а даже и не задумался над этим.

И на Кавказе, наконец, начали обследовать современные именники (именник — не список имен, а частотность каждого имени в употреблении). Пока выполнены Дж. Н. Коковым подсчеты имен новорожденных кабардинцев за 1960—1970 гг. [109], мной — за 1968 г. у азербайджанцев Баку и трех районов Азербайджана, у ногайцев, кумыков, лаков и аварцев Дагестана [110], работниками Управления ЗАГС АрмССР — у армян (рукопись), Р. А. Бобровой — у абхазов Сухуми за 1970 г. [111]. Не опубликованы самые полные из подсчетов имен на Кавказе — Т. Ф. Агеевой у абазинцев с 1900 г. по 1969 г. Мои подсчеты выявили такие актуальные процессы в антропонимии пяти народов Восточного Кавказа, как убыль имен с подчеркнуто религиозной окраской, сжатие именника, пока еще чрезвычайно многоименного в аулах, но становящегося компактней в Баку (степень концентрации наилучше выражена процентным соотношением получающих десять наиболее частых имен: у азербайджанцев Баку за 1968 г. десять самых частых имен охватили 24% новорожденных мальчиков, а в сельских районах12%, в то время как у русских повсеместно 78—81%), размежевание формы имен по полу, сокращение составных имен (кроме кумыкских), рост употребительности новых имен.

В именниках народов Кавказа возрастает доля имен, употребительных у русских [112]. Отмечены и недостатки, вредящие этому процессу: принимают уменьшительные формы имен за полные и дают их детям в качестве официальных имен (*Гриша*, *Эличка*) и отчеств (*Гаяне Ваняевна*, *Сусанна Коляевна*, *Котик Котикович*). В помощь родителям и работникам ЗАГС публикуют рекомендации по выбору имен [113]. Никто не отметил, что на глазах возник своеобразный кавказский ареал шекспировских имен: из

---

[106] К. Т. Рамазанов, Опыт семантического анализа азербайджанских личных имен, ОК.

[107] У. А. Мейланова, Новое в антропонимии дагестанских народов, ОК.

[108] Ш. М. Саадиев, Основные правила выбора имен для новорожденных, сб. «Личные имена», М., 1970.

[109] Дж. Н. Коков, Вопросы адыгской (черкесской) ономастики, стр. 88—97.

[110] В. А. Никонов, Имя и общество, М., 1974, стр. 85—141; см.: его же, Размежевание формы имен по полу у тюркоязычных народов, «Советская тюркология», 1972, 2; его же, Обычай связанных имен у тюркоязычных народов, «Советская этнография», 1973, 6; его же, Личные имена кумыков и ногайцев сегодня, ОК.

[111] Р. А. Боброва, Выбор личных имен в Абхазии, ОК.

[112] См.: Л. В. Гогичаева, Осетинские личные имена, заимствованные из русского языка, ОК.

[113] З. Г. Чумбуридзе, Как Вас зовут? Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); Ш. М. Саадиев, Имена людей, сб. «Рассказы о языке», Баку, 1959.

Армении и Грузии распространились на Азербайджан, Абхазию, Осетию, Адыгею имена *Офелия*, *Джульетта*, *Гамлет*.

И. Л. Майсурадзе[114] и Г. В. Бедошвили[115] выделили и описали основные группы грузинских фамилий, их словообразовательные особенности, а для некоторых групп очертили географическое распространение (*-ани*, *-иа*, *-ава* в Западной Грузии) и хронологию, отметили древность фамилий на *-ели*, которые Г. В. Бедошвили датирует даже V веком! Антропонимика относит возникновение фамилий к XI в. в Северной Италии (А. Доза), сведения о VIII в. признаны ненадежными. Предстоит тщательно проверить возраст грузинских фамилий — не принял ли исследователь за фамилии иные антропонимические факты (ср. ложные трактовки вроде А. Навои, А. Македонский). Если же строгая проверка подтвердит сообщение Г. В. Бедошвили, рождение фамилий переместится на 600 лет раньше и из Италии в Закавказье. Но это еще надо доказать.

В абсолютном большинстве грузинские фамилии, как и русские, патронимичны (*дзе* «сын», *швили* «дитя» из причастия «рожденный», в фамилиях на *-иа*, *-ава*, *-уа* предполагают адъективные или генитивные формы, подобно русским на *-ов*), т. е. первоначально и эти отчества от обозначения отца, независимо от того, обозначен ли отец по имени, занятию или местности.

А. А. Глонти собрал в западных районах Грузии более трех тысяч фамилий, приведя их при названиях селений в своих «Топонимических разысканиях» (ч. I). Но еще не подсчитана частотность форм фамилий по различным территориям Грузии (абсолютное преобладание *-дзе* в Западной Грузии, *-швили* — в Восточной).

По абхазским фамилиям некоторые наблюдения привел Х. С. Бгажба в упомянутой книге. Опубликованы списки кабардинских фамилий Х. И. Бабековым по Кабардино-Балкарской АССР[116] и Дж. Н. Коковым — фамилии кабардинцев зеленчугских; оказалось, что около 15% образованы посредством *къуэ* «сын» (этот же компонент встречаем и у балкарцев, карачаевцев, черкесов, осетин). Полный список адыгейских фамилий готовит З. У. Блягоз. Армянские фамилии тюркоязычного происхождения исследует известный тюрколог С. С. Джикия (Тбилиси). Некоторые источники фамилий лаков Дагестана рассмотрел С. М. Хайдаков[117].

Антропонимия Кавказа позволяет вскрыть и изучить антропонимические категории, неведомые теперь у русских и большинства западноевропейских народов,— следы родовой общины. Но упоминания о них беглы[118]. Антропонимистам Кавказа еще не удалось показать их место в современной системе именований (функции, связь с социальными группами, частота, разграничение между ними и другими видами именований).

Долго обходили молчанием прозвища, но их от этого не убавилось. Только Всесоюзное совещание по личным именам (Москва, 1968) открыло широкое исследование их, особенно развернутое на Кавказском ономастическом семинаре (1971), где прозвищам был отведен цикл рефератов[119],

[114] И. Л. Майсурадзе, Некоторые вопросы образования фамилий в картвельских языках, «Уч. зап. Тбилисск. пед. ин-та», 23, 1969 (на груз. яз.).

[115] Г. В. Бедошвили, О грузинских фамилиях, сб. «Антропонимика», М., 1970.

[116] «Населенные пункты Кабардино-Балкарской АССР и перечень фамилий, встречающихся в них», Нальчик, 1970.

[117] С. М. Хайдаков, Фамильные имена, образованные от топонимов и нарицательных слов, ЭИ.

[118] Х. С. Бгажба, указ. соч., стр. 233—241; Э. Г. Карапетян, Семейная община и патронимия у армян, Ереван, 1966.

[119] В. А. Флоровская, Прозвища в русских говорах Кубани, ЭИ; С. М. Гасанова, Прозвища как один из источников возникновения личных имен, ОК; В. А. Абдулаев, О некоторых прозвищах в ауле Кули, ОК.

и на конференциях по ономастике Поволжья. Именно на Кавказе проведены лучшие исследования прозвищ (В. А. Флоровская — прозвища на Кубани). Обсуждения показали, что «прозвища» объединены лишь негативным признаком «не паспортности» их; предстоит различить в этой массе разнородные виды наименований и найти им дефиниции.

Есть работы об антропонимах художественной литературы и фольклора. Имена персонажей грузинской художественной литературы избрала темой своей кандидатской диссертации К. М. Годерзишвили (Тбилиси). На материале азербайджанской литературы о них написал А. Джавадов [120]. Г. В. Цулая подверг анализу абхазское мифологическое имя *Абрскил*, предполагая скифское происхождение его [121]. Многочисленны и дискуссионны статьи об именах нартов [122]. Эпос о нартах вобрал в себя творчество многих народов и стал их общим достоянием. В резком споре, какому языку принадлежали имена нартов, даже ценные наблюдения приобретают нежелательную окраску.

4. Теонимика. Имена божеств служат важными свидетельствами по истории языков и народов, этногенеза и контактов, развития представлений о мироздании, помогают разоблачать религиозные мифы.

Ирано-кавказские языковые переплетения теонимов показал В. И. Абаев [123]. В абхазской и адыгской теонимии обнаружены близкие параллели с теонимией хаттов (III—II тыс. до н. э.). Ш. Д. Инал-Ипа привел несколько таких пар: хаттское божество *Телепинус* — адыг. *Тлепш*, хатт. *Хатти* — абхаз. *Хайт*, хатт. *Кукуна*, *Тару*, *Анана* — абхаз. *Кукун*, *Ай-Тар*, *Анана* и др. [124]. Отмечены теонимические параллели между различными языками Кавказа [125]. Несколько абхазских теонимов привел Х. С. Бгажба (указ. соч., стр. 223), ряд теонимов из грузинского фольклора извлек Б. Абашидзе [126]. А. Шанидзе раскрыл происхождение сванского теонима *Джграг* из греческого имени «святого» Георгия [127].

В упомянутой книге В. Н. Хачатряна (стр. 178—179) названы десятки богов из хеттских источников, у И. М. Дьяконова — теонимы Хайасы и лувийско-протоармянские [128] (ранее широко представил урартский пантеон Г. А. Меликшвили). Древнюю теонимию армян взяла темой своей диссертации Г. Д. Вардумян (МГУ).

---

[120] А. Джавадов, Употребление личных имен в художественной литературе, сб. «Вопросы азербайджанского языкознания», Баку, 1967 (на азерб. яз.).

[121] Г. В. Цулая, К истории имени Абрскил, «Советская этнография», 1966, 6.

[122] Б. Х. Балкаров, Этимология нартских имен, журн. «Ошхамахо» («Эльбрус»), Нальчик, 1966, 3 (на кабард. яз., параллельный список осетинских и адыгских имен нартов — стр. 71); М. А. Кумахов, О соотношении Сосрыко и Сослан, «Уч. зап. Адыгейск. НИИ», V, Краснодар — Майкоп, 1966; его же, К этимологии имени основного героя адыгского и абхазского эпоса, сб. «Сказания о нартах. Эпос народов Кавказа», М., 1969; А. М. Гадагатль, Героический эпос «Нарты» и его генезис, Краснодар, 1967 А. Аншба, К спорам о происхождении первоначального ядра нартского эпоса, «Мацне», Тбилиси, 1971, 4; Т. А. Гуриев, Имя матери нартов — Дзерасса, журн. «Мах дуг», Орджоникидзе, 1970, 12 (на осет. яз.); Ш. Д. Инал-Ипа, Страницы исторической этнографии абхазов, Сухуми, 1971, стр. 301.

[123] В. И. Абаев, Дохристианская религия алан, М., 1960.

[124] Ш. Д. Инал-Ипа, О древних этнокультурных связях Западного Кавказа с Малой Азией, «Всесоюзное археолого-этнографическое совещание (Самарканд, 1973)», Ташкент, 1973, стр. 90.

[125] М. Я. Чиковани, Народный грузинский эпос о прикованном Амирани, М., 1966, Г. П. Дзаттиаты, Образ Афсати, «Изв. Юго-Осетинского НИИ», XVII, Цхинвали, 1971.

[126] Ш. Абашидзе, К вопросу о языческих божествах в грузинском народном творчестве, «Мацне», 1971, 3 (на груз. яз.).

[127] А. Шанидзе, Сванский культовый термин *Джграг*, там же, 1973, 2 (на груз. яз.).

[128] И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 56, 213, 233—234.

Непосредственно к Армении относится (но действительно для всего Кавказа) замечание, что многие древнейшие теонимы сохранены в топонимии: «именами богов были названы многочисленные объекты, города-крепости, поселения и т. д.... Однако этому вопросу в специальной литературе не уделено должного внимания» [129]; это наблюдение подкреплено многими примерами с территории Армении.

5. Другие отрасли ономастики. Не продвигается вперед изучение космонимии на Кавказе. За 1200 лет со времен Анания Ширакаци, «Космография» которого теперь издана и в русском переводе [130], прибавилось не слишком много, а за рассматриваемое десятилетие — ничего. Названия космических объектов одни из самых древних, они могли бы многое открыть в истории народов Кавказа и их языков.

Взять хотя бы названия Млечного Пути, до сих пор никем не собранные на Кавказе. Юг Кавказа входит в ближневосточный массив названий Млечного Пути с идеей «Путь вора соломы» (по мифу о боге, укравшем солому у бога-соперника и просыпавшем ее по небу при бегстве) — так у армян, таково и одно из названий Млечного Пути у азербайджанцев. Космоним, как полагают, возник во II тыс. до н. э. в Месопотамии или Сирии. А у народов Главного Кавказского хребта названия Млечного Пути связаны с животноводством и охотой: груз. «прыжок оленя», абхаз. «дорога овец», адыг. «путь перегона лошадей», чечен. «где волочили медведя», лезг. «путь стад», бацбийск. «где прыгали ягнята». У некоторых народов сосуществуют названия различных типов, отражая разные этапы истории народа [131]. Красноречивы и названия других космических объектов. Этот неоценимый для науки материал исчезает на глазах (всем становятся известными космонимы, принятые в астрономии), и нельзя откладывать запись его, иначе он погибнет для науки навсегда.

Почти полностью заброшена на Кавказе зоонимика. Две работы написаны об именах богатырских коней эпоса: И. Х. Абдуллаев о Тулпар, Г. В. Цулая о Мерани (в печати). А о современной зоонимии нет ничего, хотя она важна с точки зрения не только лингвистической и этнографической, но и практической.

Совсем обойдены лингвистами собственные имена и других объектов — магазинов, фирменных поездов, гостиниц, ресторанов, детских садов, кинотеатров и т. п. Не все из них удачны. А ежеминутно повторяемые миллионами людей, они формируют вкус народа, и наука не вправе их не замечать. Пока же обсуждение острых вопросов прикладной ономастики не идет дальше фельетонов или писем в редакции.

---

[129] Н. В. Арутюнян, Некоторые вопросы топонимики Урарту, ИФЖ, 1965, 1, стр. 151.

[130] А. Ширакаци, Космография (перевод с арм.), Ереван, 1962.

[131] В. А. Никонов, География названий Млечного Пути, сб. «Ономастика Востока» (в печати).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

РЕЦЕНЗИИ

Б. А. Ларин. **Эстетика слова и язык писателя.** — Л., ЛО изд-ва «Художественная литература», 1974. 285 стр.

Недавно вышедшая в свет книга избранных статей Б. А. Ларина под общим заглавием «Эстетика слова и язык писателей»— выдающееся событие в нашей научно-литературной жизни. Борис Александрович Ларин (1893—1964), профессор Ленинградского университета, член-корр. Академии наук УССР и действительный член Академии наук Литовской ССР, был ученым необычайно широкого научного кругозора. Он может быть причислен к наиболее видным филологам XX в. Его исследовательские интересы простирались на многие разнообразные ответвления филологического знания. Это санскритология, балтистика и славистика в самом широком плане, и прежде всего русистика и украинистика. Главным полем его научных исследований были история русского языка и диалектология, в частности историческая и региональная лексикология и лексикография. Изучение языка Б. А. Ларин неизменно связывал с изучением жизни и истории народа.

Являясь филологом в полном смысле этого слова, Б. А. Ларин с одинаковым вниманием относился к изучению языка народа и литературно-художественного творчества как искусства слова. Отсюда проистекал органически обусловленный научный интерес к изучению вопросов стилистики художественной речи, языка и стиля произведений писателей. В рецензируемой книге собраны основные работы Б. А. Ларина, написанные им в разные годы на протяжении всего его творческого пути, по смежным вопросам языковедения и литературоведения.

Рецензируемая книга имеет два раздела. Первый посвящен общетеоретическим проблемам изучения стилистики художественной речи. Здесь публикуются две статьи Б. А. Ларина, написанные им еще в 20-е годы: «О разновидностях художественной речи (Семантические этюды)», впервые напечатанная в 1923 г. в сб. «Русская речь» под ред. Л. В. Щербы, вып. I, и «О лирике как разновидности художественной речи (Семантические этюды)», напечатанная в 1927 г. в издании «Русская речь» под ред. Л. В. Щербы, Новая серия, вып. I. Во втором разделе книги собраны статьи, посвященные изучению языка произведений русской и советской художественной литературы и написанные в 30—60-е годы. Всего в этом разделе книги печатается восемь работ о языке Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, М. Горького, М. Шолохова. В статье «Диалектизмы в языке советских писателей» (понятием «диалектизмы» Б. А. Ларин охватывал не только областные речения, но и и профессионализмы и арготизмы) рассмотрены в этом отношении произведения Л. Леонова, И. Эренбурга, М. Шолохова, созданные в 30-е годы.

Благодаря такому расположению публикуемых материалов читатели имеют возможность не только ознакомиться со взглядами Б. А. Ларина на многие сложные явления стилистики художественной речи, но и проследить эволюцию его взглядов, увидеть непрерывное совершенствование методологии и методики его филологических исследований. Сборник завершает краткая библиографическая справка, в которой даются необходимые сведения о времени написания и первоначальной публикации каждой из помещенных в сборнике статей.

Предваряется книга развернутой вступительной статьей «Б. А. Ларин как исследователь языка художественной литературы», написанной А. В. Федоровым, видным специалистом по общей и сопоставительной стилистике и теории перевода. С большой глубиной и с предельной ясностью здесь раскрыт образ автора книги как ученого, внесшего большой вклад в «развитие той отрасли филологической науки, которая сложилась в советскую эпоху на стыке между литературоведением и языкознанием и занимается языком художественной литературы» (стр. 3). В статье справедливо отмечается, что хотя работы по эстетике слова, по языку писателя в научном наследии Б. А. Ларина составляют в количественном отношении меньшую часть, но по своей теоретической и практической значимости они заслуживают пристального внимания, отвечая насущным запросам современной науки.

Первая статья Б. А. Ларина «О разновидностях художественной речи» появилась более чем полстолетия тому назад.

Работы по этой тематике публиковались на протяжении всего его сложного и многотрудного жизненного пути. Они давно и заслуженно получили научное признание как в нашей стране, так и за рубежом. Однако громадному большинству читателей, интересующихся проблемами филологии, работы Б. А. Ларина, публиковавшиеся в различных малотиражных периодических изданиях и не собранные во всей совокупности, оставались практически недоступны. Мы должны высказать искреннюю признательность издательству «Художественная литература» за то, что оно взяло на себя опубликование этой книги.

Исследованиям Б. А. Ларина свойственны обширные экскурсы и сопоставления за пределами русской литературы. Так, в работе «О разновидностях художественной речи» поэтика русских стихотворений начала XX в. сопоставляется с поэтикой ведических гимнов и этимологических комментариев к ним Яски (древняя Индия); в работе «О лирике как разновидности художественной речи» столь же органичны экскурсы, совершаемые Б. А. Лариным в область древнеперсидской или арабской доисламской поэзии с целью более глубокого понимания лирики А. Блока, В. Хлебникова, раннего Маяковского. Столь же органично в первой из названных статей сопоставление «Кобзаря» Тараса Шевченко с произведениями Л. Толстого и Гоголя в восприятии старых дореволюционных русских крестьян или сопоставление сказителей старин, от которых записаны фольклорные варианты произведений допетровской славянской литературы, с нищим персом, «носившим в своих лохмотьях зачитанные листы Саади» (стр. 43).

Как правильно подчеркивается во вступительной статье А. В. Федорова, основным предметом разысканий Б. А. Ларина была не теория литературы и не теория литературных жанров, а стилистика как часть поэтики. Язык художественной литературы как ее существенная и неотъемлемая принадлежность отличает литературу и от иных, несловесных искусств, и от общеупотребительного языка, на котором говорят и пишут. Поэтому именно язык художественных произведений стал для Б. А. Ларина главным и основным предметом внимания.

Научные взгляды Б. А. Ларина на многие проблемы, связанные с изучением языка художественной литературы, изменялись и совершенствовались в методологическом отношении. Однако главное и основное в них не менялось и оставалось глубоким убеждением Б. А. Ларина. Это прежде всего положение об эстетической функции каждого слова в контексте художественного целого. Важнейшей для концепции стилистики художественной речи Б. А. Ларина является сформулированная уже в его ранних статьях 20-х годов категория «эстетического значения слова». Слово в художественном тексте живет как «намек включенных мыслей, эмоций, волнений». По убеждению Б. А. Ларина, в эстетическом значении слова «не дана сполна смысловая ценность слова, а только обозначены пределы разного в каждом случае ассоциативного развертывания смысла данной речи» (стр. 34). Как сказано в статье А. В. Федорова, эстетическое значение слова — это глубина смысла, который слово приобретает в составе языка целого литературного произведения, «где оно может выступать в разных, но соотносительных друг с другом контекстах, по-разному освещающих его» (стр. 9).

Б. А. Ларин в конце своей статьи «О разновидностях художественной речи» подчеркивал: «Мое искомое — смысловой коэффициент художественной речи» (стр. 47). По мысли Б. А. Ларина, словарь к произведениям художественной литературы (иначе — словарь языка писателя) должен являться полным и объяснительным, раскрывающим все эстетические функции и значения каждого употребленного писателем слова, все заключенные в нем семантические оттенки и обертоны, обусловленные широким контекстом художественного целого. Такой словарь будет способен служить твердой основой для последующей разработки идеологического словаря писателя, словаря, призванного раскрыть как мировоззрение, так и эстетическую систему художника слова. Взгляды Б. А. Ларина на эстетику слова помогут будущим исследователям производить полный и объективный анализ языка писателя, который Б. А. Ларин условно назвал «спектральным анализом стиля» (стр. 277).

Рецензируемая книга тщательно отредактирована. Естественно, кое-что в отдельных частях вошедших в нее статей не выдержало испытания временем, и редакторы издательства правильно поступили, исключив отдельные места, что оговорено в библиографической справке. Жаль только, что такие редакторские сокращения текста не везде отмечены отточиями. Художественные тексты, использованные в первоначальных публикациях Б. А. Ларина, как правило, при подготовке сборника подвергались необходимой проверке по изданиям. Однако, к сожалению, это производилось недостаточно последовательно и точно. Так, на стр. 206 в статье «Заметки о языке пьес М. Горького и его театральной интерпретации» допущена досадная опечатка, искажающая горьковский текст в реплике Егора Булычова. В библиографической справке на стр. 284 следовало бы указать, что статья «Рассказ М. Шолохова „Судьба человека“ (Опыт анализа формы)» после первого опубликования в журнале «Нева» (1959, 9) еще раз была напечатана в журнале «Русский язык в школе» (1965,

2). Эти мелочи легко могут быть устранены при следующем переиздании избранных статей Б. А. Ларина, которое безусловно необходимо. Ведь книга была издана недостаточным тиражом (10 000 экз.) и разошлась буквально в два дня.

Н. А. Мещерский

***A. Lombard.* La langue roumaine. Une présentation.**—Paris, Éditions Klincksieck, 1974. 396 стр.

Книга известного шведского лингвиста-романиста А. Ломбарда вышла в серии «Лингвистические руководства и лингвистические разыскания», которая издается «Центром романской филологии» при Страсбургском университете во Франции. А. Ломбард — представитель старшего поколения шведских лингвистов. Его перу принадлежат многочисленные капитальные работы, большая часть которых относится к румынскому и французскому языкам, в частности и в особенности к их грамматическому строю. Можно без преувеличения сказать, что в наши дни А. Ломбард является, по-видимому, самым крупным специалистом в области румынского языка за пределами самой Румынии. Начиная с 1940 г. под руководством А. Ломбарда в шведском университете города Лунда публикуется серия лингвистических разысканий в области романской филологии, авторами которой являются ученики и последователи ученого.

Рецензируемая книга во многих отношениях представляется мне новаторской: перед нами отличный учебник румынского языка и одновременно исследование его грамматического строя, подробное синхронное описание языка и одновременно его же историческая грамматика, самоучитель и одновременно теоретический курс, хрестоматия румынских текстов, составленных ad hoc, и одновременно их тщательный филологический анализ. И все это помещается в одном томе и не выходит за пределы четырехсот страниц. Получилась настольная книга для всякого лингвиста-романиста.

Нельзя не отметить еще одной общей характерной особенности всей книги. А. Ломбард нигде не обсуждает общих вопросов языкознания: теории соотношения синхронии и диахронии, теории общей и конкретной грамматики. Не обосновывает он и пропорции между грамматической частью и частью иллюстративной. Он нигде не говорит о том, насколько описание современного состояния языка допускает историческую интерпретацию его строя и насколько интерпретация помогает или «мешает» пониманию грамматического строя. Но странное дело. Хотя в книге нет обоснованной теории, но материал самой книги, его тщательно продуманная «подача», говорят о многом. Изучив монографию, читатель убеждается на практике, что история языка и исторические экскурсы не только нисколько не препятствуют усвоить грамматическую систему современного языка, но, напротив, помогают точнее и глубже осмыслить подобную систему. Весь вопрос в том, ка́к и для чего́ прибегает исследователь к подобным историческим толкованиям. В книге А. Ломбарда все это сделано рукой опытного мастера.

Сказанное, разумеется, не означает, что я хочу хоть в какой-то мере бросить тень на огромное методологическое значение обсуждения общих вопросов лингвистической теории. Это значение не подлежит никакому сомнению, особенно в наше время. Но вместе с тем я хочу сказать, что наука нуждается не только в общетеоретических, но и в практических решениях. Надо обсуждать, например, не только как д о л ж н а соотноситься синхрония и диахрония при описании синхронного состояния любого языка. Надо стремиться одновременно и к другому: при самом описании всякого конкретного языка — русского или румынского, английского или японского — каждый раз показывать, что практически дает диахрония синхронии, насколько она помогает или не помогает читателю уразуметь современное состояние анализируемого конкретного языка. А. Ломбарду удалось убедить своих читателей, что именно диахрония, умело «поданная», как бы прожектором освещает те синхронные «стыки» в системе языка, которые сами находятся в постоянном движении, осложняя каркас языка. Недаром многие лингвисты нашего времени все чаще и чаще теперь говорят об антисистемном движении в самой лингвистической системе [1]. Как мне уже приходилось неоднократно писать, дилемма «либо системное описание, либо историческое описание языка» должна быть признана ложной дилеммой. Вместе с тем — и здесь нет никакого противоречия — синхрония сохраняет свою специфику в отличие от диахронии.

Приведу лишь один пример подобной «опоры» на историю при осмыслении синхронии. Уже на первых же страницах своей книги Ломбард, сообщая, что в румын-

[1] См., например: M. Wandruszka, Interlinguistik. Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971, стр. 53—73.

ском языке категория рода имен существительных представлена не только мужским и женским, но и так называемым обоюдным родом (в ед. числе — муж. род, во мн. числе — жен. род: *val* «волна», *valuri* «волны»), обращает внимание на латинский источник обоюдного рода (в латинском языке ср. род существительных типа *bracchium* «рука», *bracchia* «руки») и на сходные явления в других романских языках (итал. *il braccio* «рука» муж. рода, *le braccia* «руки» жен. рода). Казалось бы, какое значение имеют эти факты для понимания системы грамматического рода имен существительных в современном румынском языке? Не существует ли система «сама по себе»? При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что проблема сложнее. Разумеется, анализируемая категория рода бытует и «сама по себе» в данном конкретном румынском языке. Но, во-первых, для ее осмысления существенно знать, что аналогичное «странное» явление (обоюдный род) бытует и в других современных языках, что его источник хорошо известен. Более редкие случаи обоюдного рода в итальянском языке сравнительно с румынским помогают понять частотность подобных образований в самом румынском языке. Как известно, родственные языки и соприкасаются, и различаются. Но всякое различие весьма важно для понимания особенностей одного языка в отличие от другого. Следовательно, исторические и сравнительно-исторические экскурсы не только объясняют рассматриваемое явление, не только снимают с него известный налет «странности», но и помогают понять его в системе данного языка в отличие от его же места в системе другого языка. Синхрония и диахрония не только различаются (это обычно чаще всего подчеркивают), но и взаимодействуют постоянно.

У А. Ломбарда истолкованию грамматического строя румынского языка способствуют постоянные сопоставления сходных явлений во французском, итальянском и испанском языках. Нужно всячески приветствовать подобный метод изучения близкородственных языков. В последние годы он стал успешно применяться и у нас в стране. Сравнение с другими языками, которое, казалось бы, при поверхностном рассмотрении фактов должно «уводить в сторону», в действительности, при более пристальном анализе, лишь способствует пониманию особенностей каждого языка. Само сравнение «работает» в пользу синхронии, хотя подобное описание ориентируется уже на более квалифицированного читателя, чем описание «замкнутое». Но это уже другой вопрос, не имеющий прямого отношения к разумению синхронной системы языка.

На протяжении всей своей книги А. Ломбард очерчивает норму румынского языка в ее движении и в ее вариантах. Хотя само наличие вариантов нормы осложняет понятие нормы, но зато оно же приближает описание к действительному состоянию языка во всем его сложном многообразии. Так, например, предложение *Calul tău frumos* «твоя красивая лошадь» может быть передано в румынском языке десятью различными способами (стр. 156—157). Автор тщательно анализирует каждый из этих способов, показывая его отношение к литературной норме, его бо́льшую или меньшую типичность (характерность).

Необходимо подчеркнуть еще одну особенность рецензируемой книги. При анализе каждой грамматической категории и каждой части речи автор везде начинает подобный анализ с основного значения данной категории, данной части речи. Так, например, будущее время глагола передает прежде всего и больше всего именно будущее время, хотя в иных случаях будущее может служить средством выражения настоящего или даже прошедшего времени, может получить особый модальный оттенок, переместиться из сферы времени в собственном смысле в широкую сферу модальности и т. д. То же следует сказать о любой другой грамматической категории, о любой другой части речи. Качественное прилагательное способно приобретать в контексте разные функции, но прежде всего оно служит для передачи качественной характеристики предмета или явления.

На мой взгляд, подобный подход к грамматике наиболее плодотворен. Между тем в некоторых направлениях современной лингвистики сейчас защищается прямо противоположный тезис, ставший очень модным. Его сущность сводится к тому, будто бы ни одна часть речи, ни одна грамматическая категория не имеют и не могут иметь основных (главных) значений, основных (главных) функций. Каждая из них обладает лишь суммой значений, суммой функций, одинаково равноправных [2]. При таком, на мой взгляд глубоко ошибочном, понимании грамматики становится неясным, как же грамматика организует язык и как грамматические категории взаимодействуют с категориями мышления. Грамматика становится «рыхлой», как бы «бесхребетной», она лишается своих больших возможностей, цементирующих человеческую речь.

Как и в других романских и, шире, индоевропейских языках, в румынском иногда встречаются и такие морфологические построения, точное значение которых реализуется в контексте, в речевом «потоке». Форма типа *cunosc* означает и

[2] См. об этом в моей книге: «Этюды по синтаксису румынского языка» (М., 1958, стр. 220—231) и в статье «Категория значения в разных направлениях современного языкознания» (ВЯ, 1974, 4, стр. 15—18).

«они (мужчины) знают», и «они (женщины) знают». Аналогичная картина в современном русском языке, но иная ситуация во французском: *ils connaissent — elles connaissent*. Разумеется, в подобных случаях надо говорить не о двусмысленности языка, как это теперь часто утверждают [3], а о взаимодействии морфологических средств языка с потребностями коммуникации. А. Ломбард так и поступает, не прибегая и в этом случае к теоретическому обоснованию своей методики. Сами по себе морфологические категории развитых языков, имеющих богатую литературную традицию, двусмысленными никогда не бывают.

Отсутствие лексического раздела в книге я бы отнес к ее недостаткам. Это тем более жалко, что румынская, как и молдавская, лексика представляет большой интерес. О своеобразии румынской лексики писали филологи-романисты разных стран. И в такой итоговой работе, как руководство А. Ломбарда, подобный пробел удивляет. К тому же само руководство называется «румынским языком», а не «румынской грамматикой». Нельзя не сожалеть и об отсутствии общего заключения в книге, как и заключений, хотя бы кратких, к ее отдельным главам и разделам. Остается не совсем ясным, какую дифференциацию проводит автор между такими терминологическими словосочетаниями, как «разговорный стиль» и «непринужденный стиль» (le style aisé).

Оценивая большой труд А. Ломбарда в целом, нельзя еще раз не подчеркнуть его бесспорные научные достоинства: перед нами оригинальная, очень тщательно выполненная работа, принадлежащая перу тонкого знатока румынского языка. Подобной книги, которая совмещала бы в себе достоинства отличного учебника с достоинствами научного исследования, в мировой романистике до сих пор не было. Было бы весьма желательно, чтобы «Центр романской филологии» при Страсбургском университете продолжил публикацию подобных «итоговых руководств» и по другим романским языкам, в частности по такому языку мирового значения, как португальский, который остается до сих пор языком все еще очень мало изученным.

Р. А. Будагов

[3] Ср.: J. G. Kooij, Ambiguity in natural language, Amsterdam — London, 1971.

E. Matteson (et al.). **Comparative studies in Amerindian languages.—The Hague—Paris, 1972. 251 стр.**
(«Janua Linguarum». Studia Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata. Series practica, 127)

Можно с уверенностью сказать, что сравнительно-генетические исследования в области американдских языков ощутимо прогрессируют с каждым годом. Если в еще совсем недавнем прошлом здесь господствовали самые смелые и в то же время совершенно не подкрепленные фактическим материалом гипотезы, то настоящее время характеризуется в американистике широким фронтом конкретных работ по выявлению генетических связей между отдельными группировками этих языков. Среди наиболее развитых частных отраслей американдской компаративистики следует назвать алгонкинское и и юто-ацтекское языкознание, немало было сделано по сравнительно-историческому изучению языковых семей галф, кечумара, далеко продвинулись интенсивные штудии по цепному доказательству родства большого числа центрально-американских языков (отомангская гипотеза). Не менее впечатляющими оказались прецеденты обнаружения представителей северноамериканских группировок в Центральной Америке и представителей центральноамериканских — в Южной Америке. В то же время свидетельством методической зрелости компаративистических штудий в этой области языкознания являются известные теоретические публикации последних лет М. Р. Хаас, Р. Э. Лонгэйкра и других авторов [1].

Как отмечается во введении к первой части монографии, начальным стимулом для такого сравнительного исследования послужило обнаружение «структурных сходств как в фонологии, так и в грамматике между языками гуахиба Колумбии и языками такана в Боливии, а также между языками тукано Колумбии и языками гуарани в Боливии. Это открытие было обязано факту последовательной работы над целым рядом языков Перу, Боливии и Колумбии. В то же время М. Слокум и Ф. Гердел, изучая язык паэц, . . . сообщили о сходствах между ним и ранее обследовавшимся ими языком целталь (майя). Затем Ф. Джексоном, ранее изучавшим языки

[1] Ср.: M. R. Haas, The Prehistory of languages, The Hague — Paris, 1969; R. E. Longacre, Comparative reconstruction of indigenous languages, в кн.: «Current trends in linguistics», 4— Ibero-American and Caribbean linguistics, The Hague — Paris, 1968, стр. 320—360.

тохолобал и целталь, была установлена бóльшая часть соположений между паэц и майя и были намечены соответствия. Свидетельства этих разнообразных связей вместе с массой межгрупповых сходств, накопленных за длительное время в полевых записях, в конечном счете привели к постулации отношений широкого родства американских языков» (стр. 22—23). Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что попытка столь масштабного генетического исследования получила дополнительный стимул после того, как ряд этнологов на основании специфики распределения групповых факторов крови у индейцев высказали мнение, согласно которому протоиндейская группа переселенцев на континент Америки должна была быть очень малочисленной [2].

Рецензируемая книга состоит из двух основных частей. Первая из них (автор Э. Маттесон) ставит своей задачей продемонстрировать генетическое родство большой группы северно-, центрально- и южноамериканских языков, принадлежащих к семьям алгонкин, сиу, галф, хока, юто-ацтек, майя, чибча, кечумара, аравак, гуахиба, тукано, витото, бора, такана, пано, тупи-гуарани и жэ, а также трех языков неясной принадлежности — паэц, камса и гуамбиано. Вторая часть книги содержит реконструкции фонологических систем и фрагментов основного лексического фонда южноамериканских групповых праязыков — проточибча (автор Э. Уилер), протомайя (автор Ф. Л. Джексон), прототукано (авторы Н. Е. Уолтц и Э. Уилер), протогуахиба (авторы Д. Р. Кристиан и Э. Маттесон) и протоаравак (автор Э. Маттесон).

Монография представляет собой, несомненно, наиболее интересную и самую масштабную работу, когда-либо предпринимавшуюся в области сравнительно-генетических исследований американских языков. В орбиту сравнения здесь вовлечены языковые группировки, существенно варьирующие и в типологическом отношении: одни из рассматриваемых языков — представители номинативного строя, другие — эргативного, третьи — активного.

Сравнительное исследование южноамериканских языков впервые привлекает к сравнению большой фактический материал, который анализируется в соответствии со строгой методикой современного генетического исследования. На основании сопоставления многочисленных рядов лексических корреспонденций, существующих между конкретными языками, а иногда — и между промежуточными праязыками, здесь устанавливаются фонологические корреспонденции и закономерности фонетического изменения, реконструируется звукотип и семантика исходных лексем и в первом приближении воспроизводится лежащая в основе система протофонем (при этом, пожалуй, не следует ставить авторам в упрек то, что в целом ряде случаев формула реконструкции лексемных прототипов представляет собой нечто вроде «среднего фонетического» сопоставляемых лексем: нельзя упускать из вида, что это — естественный атрибут раннего этапа любого сравнительно-генетического исследования). Эта часть монографии с достаточной очевидностью свидетельствует о значительном прогрессе, достигнутом в изучении таких крупных семей, как чибча и аравак (даже по сравнению с относительно недавно опубликованной книгой Дж. Нобла [3]).

В первой части книги приводится в общей совокупности свыше 975 рядов лексических и, отчасти, морфологических соответствий, охватывающих материал от двух до почти всех сопоставляемых автором языковых семей. Здесь содержится опыт установления межгрупповых фонологических корреспонденций и закономерностей предполагаемых в отдельных языках фонетических изменений, которые экономно отображены формульной записью на стр. 37—44. В этих целях широко используются внутригрупповые фонологические реконструкции, ранее выполненные в работах других американистов (это, естественно, в значительно большей мере касается более продвинутых северноамериканских отраслей компаративистики). В качестве итогового продукта исследования автор предлагает соответствующие гипотетическому протоамериндскому состоянию лексические реконструкции, а также воспроизводит предполагаемый для него фонологический инвентарь.

Нельзя не признать, что в этой части содержится довольно много интересных межгрупповых лексических параллелей, которые к тому же в целом ряде случаев могут быть дополнены. Приведем для иллюстрации некоторые наиболее яркие из них [4].

---

[2] Ср.: H. Wormington, Origins. Program of the history of America. I. Indigenous period, 1, Mexico, 1953; Г. Ф. Дебец, Антропология Сибири и проблемы заселения Америки, «Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока (тезисы докладов и сообщений)», Иркутск, 1960.

[3] Ср.: G. K. Noble, Proto Arawakan and its descendants, IJAL, 31, 1, 1965.

[4] Приняты следующие сокращения названий языков: п.а.— протоалгонкинский, (п.)ар.— (прото)аравакский, кав.— кавиненя, (п.)так.— (прото)такана, п. пано — протопано, п. гб.— протогуахиба, тн.— туника, дел.— делавар, г.— галф, мот.— мотилон, (п.)чиб.—(прото)чибча, п. тук.— прототукано, (п.)т.-г.—(прото)тупи-гуарани, (п.)мя — (прото)майя, кеч.— кечуа, кам.— камса́, айм.— аймара, чр.—

*piya «стрела» (39, 113): п.а. *-pi (ср. также *-aHta'piya «лук»), п. ар. *piya//piha, кав. (так.) piya, п. пано *pia, Сьерра Пополука pikši; ср. также п. гб. *puya.

*ʔa «быть, делать» (73): яна (хока) -ʔa, паэц -ʔa, п. пано ʔa-, так. a- «делать», ср. также тн.(г.) ya (75).

*ātō-e-ba «пчела» (80): п.а. *ātōwa, п. ар. -maeba, мот. (чиб.) tō, п. тук. tō-tī; ср. также кокама (т.-г.) mapa.

*kʔaya «горький (96): тн. (г.) kayi «прокисать», яна (хока) kʔai, п. мя. *kʔay, кеч. kʔaya «кислый».

*-ma//-mi «кровь» (100): п. а. *meskwi, п.ар. -ma//-mi, п. пано *imi, п. так. *ami, Сьерра Пополука ime; ср. также п. чиб. *ebi (<*emiʔ).

*nihte «день» (206): г. *nihta-ki (ср., например, мускоги nitta), п. пано *nïtī, кам. ibə-nəte. В этот же ряд можно включить субтиаба (хока) endo, пополок * ʔnti «солнце, огонь», айм. inti «солнце», кеч. inti, indi, endi, возможно, вайкури (Калифорния) untaīri «солнце» и др.

*čʔi «пить» (239): чр. (мя) čʔi, п. пано *šīʔa, п. тук. *šīʔdī; ср. также п.т.-г. *čiʔu «есть» (256).

*wala-//i- «хороший» (369): дел. walat, ман. (ар.) walite «новый», яна (хока) wala-xgai, п. мя. *wali, wala «большой», кеч., айм. wali, п.ю.-а. *wə.

*apo «путь; река» (642): п.ю.-а *po, п. ар. *apo-ti, п.а. *apo «вода» (691), переа (таино) abo «река» (691).

*parV- «река» (693): п. ар. *parana//parawa «море», гмб. porampik, п. пано paro, п. т.-г. *parana-hua, гн. (тук.) bəkə-pariro, виванко (пемон) parau.

*mV- «ты» (972): п. чиб. *mue-ya(n), мс.(г.) mā, гб. -me//-mi, чп. (мя) am, вашо (хока) m-, п. пано *mi, п. тук. *mə̄ʔə̄ и мн. др. [5].

В целом более доказательными, несомненно, являются приводимые в работе южноамериканские лексические параллели. Постулация в этом материале некоторых фонетических закономерностей заметно продвигает вперед работу по сведению многочисленных языковых группировок Южной Америки ко все более ограниченному числу праязыков. Так, фрагменты основного словаря демонстрируют довольно тесную генетическую связь, существующую между семьями такана и пано (которые к тому же своей принадлежностью к языкам эргативного строя объединены и типологически): ср., например: eto ~ ato «живот» (3), *mace ~ *mašī «annato» (20), e-cao ~ šao «кость» (111), e-bakwa ~ ƀaki «ребенок» (158), ka ~ ~ ka «идти» (362), e-mata ~ mata «холм, гора» (425), e-siri ~ siri «старый» (604). См. также сопоставления 21, 30, 39, 72, 73, 76, 84, 100, 117, 134, 147, 229, 239, 250, 281, 283, 329, 375, 404, 438, 487, 494, 505, 519, 566, 580, 620, 627, 689, 721, 766, 796, 807, 838, 850, 870, 883, 884, 895, 919, 942, 949, 950 и 951, а также 972. Об отношениях более далекого родства должны свидетельствовать лексические параллели, обнаруживаемые между семьями аравак и гуахиба: ср. сопоставления 4, 21, 25, 35, 58, 70, 101, 136, 233, 316, 347, 354, 361, 372, 380, 388, 403, 405, 412, 441, 444, 503, 513, 563, 564, 595, 606, 611, 619, 628, 638, 669, 678, 680, 691, 694, 696, 728, 769, 787, 807, 822, 853, 867, 869, 905, 916, 944, 952, 965. Большой интерес представляют также словарные соответствия, отмечающиеся между языками майя и «неклассифицированным» языком паэц: ср. сопоставления 44, 54, 73 и 75, 103, 117, 140, 150, 160, 205, 220, 223, 239 и 256, 243, 259, 290, 330, 358, 369, 419, 422, 438, 453, 507, 516, 551, 572, 580, 584, 611, 686, 780, 801, 803, 807, 811, 812, 861, 866, 909, 920, 937. Обращают на себя внимание и отдельные эффектные лексические изоглоссы, объединяющие языки тупи-гуарани и тукано: ср., например: *ita-ka ~ *ita-ka «камень, скала», *yag^{w}ara ~ *yaiRo «ягуар», *aiNya «зуб» ~ ãĩ «жевать», *s//howə ~ *ewə «желтый», к которым следует присоединить и *mo-ya ~ ãyã «змея». Нельзя не отметить, однако, что лексический материал языков кечумара, как это показали и предшествовавшие наблюдения, скорее сопоставим с североамериканским, что заставляет вспомнить и некоторые уже давно выдвинутые в этой связи соблазнительные гипотезы [6].

Вместе с тем, рецензируемая монография несет на себе и отпечаток многочисленных объективных трудностей материала, с которыми на каждом шагу сталкивается разработка этой новой для языкознания проблематики.

Одно из наиболее серьезных препятствий на пути обоснования америндской гипотезы представляет резкое преобладание в сопоставлявшемся до сих пор материале сравниваемых языков так называемых «идентичных», т. е. совпадающих по своему фонетическому содержанию, фонологических корреспонденций: ср. особенно предполагаемые рефлексы консонантных протофонем, суммированные на стр. 31—36 (здесь нецелесообразно останавливаться на анализе постулированных соответствий вокалических фонем, определение которых обычно связано с особыми трудностями.) Между тем, компаративистам хорошо известно, что в плане генетического доказательства более показа-

чорти, ман.— маниба, п.ю.-а.— протоюто-ацтек, гмб.— гуамбиано, гн.— гуанано, мс.— мускоги, чп.— чипайя.

[5] Ср.: M. Swadesh, Perspectives and problems of Amerindian linguistics, «Word», 10, 2—3, 1954.

[6] Ср., например: J. P. Harrington, Hokan discovered in South America, «Journal of the Washington Academy of Sciences», 33, 1943.

тельно обнаружение так называемых «дифференцированных» соответствий, со всей очевидностью иллюстрирующих системный характер фонетических изменений, происходящих в исконном языковом материале. Во многих случаях даже возникает подозрение, не связана ли такая идентичность рефлексов с некоторыми универсальными особенностями, характеризующими звукотип дескриптивных слов.

Действительно, сравнительно высокий процент в сопоставляемом материале дескриптивных (звукосимволических и звукоподражательных) основ, убедительные параллели к которым могут быть без труда прослежены и в самых различных языковых группировках Старого Света (например, в кавказских языках), явно ставит ведущееся исследование перед дополнительными трудностями. Ср., с одной стороны, многие лексемы, приводимые в книге под семантическими знаменателями «адамово яблоко» (типа *karkwero*, *taxaxa*), «грудь» (типа *čučo*), «вождь (типа *mama*), «внук/дед» (типа *baba*), «перо» (типа *polo*, *poro*), «лизать» (типа *lak*, *lask*, *nene*), «легкие» (типа *pospo*), «молоко» (типа *pečo*, *čočo*), «мать» (типа *nana*, *mama*), «пуп» (типа *puru*, *upu*), «язык» (типа *nene*, *nani*), «дядя» (типа *koko*, *toto*) и т. п. С другой стороны, ср. лексемы под семантическим знаменателем «дуть», «хлопать», «кашлять», «летать» (типа *ber*, *per*), «сова» [7], «сосать (грудь)», «свистеть» и др. Конечно, уже разработанная сравнительная грамматика обычно так или иначе учитывает подобные лексемы, однако апеллировать к ним при доказательстве самого факта языкового родства в высшей степени рискованно.

По-видимому, не может не сказываться на достоверности как внутригрупповых, так и опирающихся на них межгрупповых реконструкций то обстоятельство, что в ряде случаев авторы по необходимости были вынуждены довольствоваться сравнением избранных представителей той или иной языковой группировки (в большей степени это, по-видимому, относится к разделам, посвященным проточибчанскому и протоаравакскому состояниям).

Проблема семантической реконструкции поднимается здесь во всей своей сложности не только в силу недостаточной изученности соответствующего культурно-исторического контекста, с которым должно было соотноситься предполагаемое автором праязыковое состояние, но и ввиду самых туманных представлений современной науки о возможном структурном облике последнего. Если учесть, однако, что до настоящего времени на американском континенте довольно широко представлены языки активного строя [8], то во всяком случае можно предполагать, что соответствующее состояние должно было характеризоваться весьма архаичной типологией. В свою очередь это обозначает необходимость коррекции ряда предположенных для праязыка семантических точек, до сих неизвестных американским представителям активного строя. В частности, вместо отсутствующих в последних прилагательных «большой», «голубой», «спелый», «маленький» и др. скорее следовало бы реконструировать стативные глаголы «быть большим», «быть голубым», «быть спелым», «быть маленьким» и т. д.

Следует остановиться, наконец, еще на одном, на этот раз внешнем по отношению к языку факторе, недостаточный учет которого способен приводить к проблематичности семантической реконструкции. В виду имеется необходимость учета общественно-исторических и географических условий, с которыми может быть соотнесена эпоха предполагаемого протоамериндского языкового состояния. Так, например, при всем том, что в настоящее время наука знает об уровне наиболее древней протоамериндской культуры Плато Прерий, известной под названием Сандиа (Sandia), в предполагаемое состояние едва ли возможно спроецировать такие семантические точки, как «кровать», «каноэ», «кукурузная водка», «хлопок», «веер», «первый», «золото», «гамак», «металл», «деньги», «сажать (растения)», «горшок», «крыша», «ложка». Не меньшие сомнения вызывает и реконструкция для него числительных выше обозначения двух. Уже один факт почти постоянного участия в сопоставлениях аймаранских или кечуанских числительных, приводимых под семантическими знаменателями «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь» и «девять», наводит на мысль о диффузном процессе формирования соответствующих изоглосс, которые без труда могут быть дополнены материалом и некоторых других языков: ср., например, числительные *pička* «пять», *sokta* «шесть», *isku* «девять», усвоенные из кечуа языком кокама из семьи тупи-гуарани [9] (значительно интереснее было бы указать на некоторые северноамериканские параллели кечуанским числительным: ср. вашо *hésge* ~ кечуа *ískay* «два»). Естественно, что сомнения вызывает и возможность соотнесения с предполагаемым состоянием и семантических точек, отражающих такие локально ограниченные на американском кон-

[7] Об этом слове см.: K.-H. Gursky, A widespread word for owl, IJAL, 33, 4, 1967, стр. 328—329.

[8] Краткое описание принципов их структурной организации см.: Г. А. Климов, К характеристике языков активного строя, ВЯ, 1972, 4.

[9] См.: N. Faust, E. G. Pike, The Cocama sound system, «Publicações do Museu Nacional. Série Lingüistica Especial», 1, Rio de Janeiro, 1959, стр. 32, 34.

тиненте элементы флоры и фауны, как «агути», «анаконда», «броненосец», «муравьед», «банан» (по-видимому, вообще происходящий из Старого Света), «кока», «гуан», «гуава», «игуана», «макао» (попугай), «магей», «маниока», «обезьяна», «пака», «тапир», «тукан», «батат» и некот. др. Поскольку даже на территории Центральной Америки человек появляется весьма поздно (не ранее XV тыс. до н. э.), предполагаемое состояние может быть приурочено исключительно к Северной Америке, где и засвидетельствована колыбель протоамериканской культуры.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что рецензируемая книга представляется первым серьезным шагом на пути обоснования гипотезы генетической связи основного массива американских языков. Предпринятая в ней систематизация соответствующих фактов показывает, что уже к настоящему времени собран языковой материал, над которым следует задуматься компаративисту. Удовлетворение приносит и то важное обстоятельство, что ведущееся исследование вооружено современной техникой сравнительно-генетического языкознания. Теперь дело всецело за поступлением в его распоряжение нового языкового материала. Таким образом, основное значение данной публикации заключается в том, что, создавая отправную точку подобных штудий, она будет стимулировать всю дальнейшую работу в данном направлении. Она, несомненно, еще более активизирует работу и по собиранию ценного и столь быстро исчезающего с лингвистической карты мира языкового материала. Думается, что самим фактом своего появления книга послужит пропаганде американского языкознания.

Г. А. Климов

«Назиратель», изд. подготовили В. С. Голышенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова, под ред. С. И. Коткова. — М., «Наука», 1973. 752 стр.

В последние 10—15 лет русское языкознание получило целую серию прекрасно изданных памятников древне- и старорусской письменности. «Изборник 1076 г.», «Вести-куранты 1600—1639 гг.», «Московская деловая и бытовая письменность XVII в.» [1] и др. В 1973 г. вышел в свет весьма ценный и интересный памятник русской письменности XVI в.—«Книга глаголемаю назиратель сіирѣчь ѕрѧд домовныѫ дѣтель»,— сокращенно —«Назиратель». Все эти издания осуществил Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР.

В основу рецензируемого издания положен единственный рукописный экземпляр памятника, хранящийся в Государственном историческом музее в собрании Барсова под № 371.

Рукопись «Назирателя» оставалась почти неизвестной в научной литературе до начала XX в., когда К. В. Покровский обратил внимание на этот ценнейший памятник русской культуры XVI в.

«Назиратель», как установил К. В. Покровский [2],— памятник переводной литературы, восходящий к латинскому оригиналу одного из изданий (1474 г.) труда Петра Кресценция «Liber ruralium commodorum» или «Opus ruralium commodorum libri XII», написанного в Италии около 1305 г. Издатели считают непосредственным иноязычным оригиналом текста «Назирателя» польский перевод с латинского (издание 1549 г.). К такому выводу приводит тщательное сличение текста «Назирателя» и польского перевода сочинения Кресценция.

В рецензируемую книгу вошел текст самого памятника, занимающий 405 страниц (стр. 107—512, 203 листа рукописи), обстоятельное «Введение» (стр. 7—74), где приведены многочисленные соответствия и совпадения русского и польского текстов (см. табл. 1), «Правила передачи польского текста» (стр. 75—81), «Принципы воспроизведения и комментирования русского текста» (стр. 103—106), «Палеографическое описание рукописи» (стр. 82—102). Заключают издание обширный «Словоуказатель» (стр. 515—712) и «Приложение» (стр. 713—748) со снимками отдельных страниц польского издания и русской рукописи «Назирателя».

Ценность памятника в том, что это первое и единственное в России до конца

[1] См.: З. М. Петрова, И. А. Попов, [рец. на кн.:] «Вести-куранты, 1600—1639 гг.», ВЯ, 1974, 1; Г. А. Хабургаев, [рец. на кн.:] «Московская деловая и бытовая письменность XVII в.», ВЯ, 1969, 3.

[2] См.: К. В. Покровский, «Книга, глаголемая Назиратель сіирѣчь урядъ домовныхъ дѣтель» (Из истории древней сельскохозяйственной переводной литературы), в кн.: «Древности. Труды Славянской комиссии Московского археологического общества», IV, 1, М., 1907, стр. 13—15.

XVII в. произведение по сельскому хозяйству (наставления по огородному и садовому искусству в «Домострое» носят отрывочный характер). «Назиратель» представляет собой своеобразное практическое руководство по вопросам полеводства и огородничества, садоводства и возделывания пашни; он содержит сведения по устройству дома, двора, усадебных построек, советы по выращиванию различных сельскохозяйственных культур, рассказывает о лечебных свойствах растений и плодов.

Публикация памятника является большим научным и культурно-историческим событием. Значение ее особенно возрастает в связи с недостаточной изученностью словарного состава русского языка XVI в., времени больших изменений в лексике, серьезной внутренней перестройки ее семантической и стилистической системы. Эти изменения в основном сводились к развитию исконно русских языковых ресурсов, но определенную роль в этих процессах играли и заимствования из иноязычных источников.

Публикация «Назирателя» вводит в широкий научный оборот материалы, ярко отражающие все эти процессы и содержащие ценные сведения для изучения вопросов, связанных с начальным периодом формирования русского национального языка. В памятнике богато представлена лексика русского языка XVI в., относящаяся к наименованиям предметов сельскохозяйственного производства, орудий и предметов труда, растений и плодов, почв и их свойств, земельных участков, построек, посуды: *арбѹз*, *боб*, *блющъ*, *верба*, *виноград*, *волк* «дикая ветвь, дикий побег», *мацаны*, *кацетѹлы*, *горох*, *гречиха*, *грибы*, *дичок*, *жито*; *безплодствие*, *навоз*, *навозиско*, *загон*, *борозда*; *борона*, *бчелник*, *голѹбник* «голубятня», *городба*, *двор*, *дворец*, *загорода*; *горшок*, *сковорода* и др. Относительно широко отражены наименования болезней, лекарств, способов врачевания, названия лиц по роду занятий: *бѣгурки*, *гноевиско*, *гноение*, *гнойник*, *гал'штынъ*, *квасцы*, *лантѹка*, *врачевание*, *врачество*, *выжигание*, *алхимист*, *воротник* «сторож», *врачь* и т. п. Заметное место в лексике памятника занимают отвлеченные существительные: *безвремение*, *бездождие*, *безразѹмие*, *безсильствие*, *бесчиние*, *величество*, *всаждение*; прилагательные, глаголы. Нет сомнений в том, что «Назиратель» станет важным источником для изучения процессов формирования в русском языке сельскохозяйственной, садоводческой, строительной и других разрядов лексики и терминологии.

Ценные сведения о естественнонаучных и лингвистических представлениях на Руси XVI в. дают глоссы и объяснения слов, широко представленные на полях текста «Назирателя». Ср., например, в тексте: творцеве стиховъ л. 113, 8—9 (на полях — поетовѣ; в польск.— Poetowie), 'ипостасеи. л. 154, 12 (на полях — образо*в*; в польск.— postáći), на... ѡпоце л. 159 об., 12 (на полях — ѡпокою | нарицаю*т* | бѣло*и* камен; в польск.— ná... ... oросе), гниет и порохнѣе*т* л. 70 об., 9 (на полях — трѹпорѣ | шаетъ), легкие неприятели л. 25 об., 7 (на полях — сѹпостаты), таготы своеи всякаесть л. 104, 7 (на полях — подыма*ти*) и др. Глоссы, приведенные в примечаниях к тексту «Назирателя», дают возможность судить о лексической синонимии в русском языке XVI в. Опубликованный памятник вообще относительно широко отражает синонимические отношения в кругу различных лексико-грамматических категорий: *кора* — *кожа*, *в'щепити* — *привити* (дерево), *сѹк* — *завязь* — *завилость* (на дереве), *дикии* — *леснои* (плод), *разность* — *различие* и т. п.

Особое значение для изучения лексической синонимии, состава синонимических рядов, для исследования специальных наименований из области сельскохозяйственной, медицинской терминологии имеют разнообразные и многочисленные разъяснения слов в тексте памятника. Это и синонимические параллели, ср.: тѣлѡ рѹмяное, или красное, л. 3, 12—13 (в польск.— ćiáło rumiáne), теплотѹ естественѹю или прироженѹю л. 3 об., 9—10 (в польск.—ćiepłość przyrodzoną), градѹ или посадѹ л. 5 об., 4—5 (в польск.— miástu), бѣгѹрки или на низ л. 6 об., 2—3 (в польск.— biegunki), парализ. сирѣчь разслабление л. 19, 17—18 (в польск.— páráliż) и т. д.; и подбор ряда русских соответствий к польским словам, ср.: силных и крѣпкихъ и нелѣнивыхъ дѣлателеи л. 1, 4—5 (в польск.— dużych á cżerstwych Osádnikow), причиною и виною л. 10 об., 12 (в польск.— przyczyną), възбирае*т* и розливаетсѧ л. 101 об., 9—10 (в польск.— wzbiera), ѡ*т*логи и перелоги. л. 108, 5 (в польск.— odłogi), хваст и травища л. 108, 17 (в польск.— chwast) и т. д. Прибавление нового слова не искажает смысла польского оригинала, ничего нового ему не сообщает, а только разъясняет читателю текст, уточняет его. Ср. также вставки в текст «Назирателя», выполняющие ту же пояснительную роль: чтобы та*к* могли хотѧ на ѡднѹ долонь ѡдна во ѡднѹ входячи складатисѧ, которы*х* щели на складыванию. подобаетъ извѣстию негашеною... л. 37 об., 11—15 (в польск.— áby ták mogły ná iednę dłón w drugie wchodząc stosowáne, być, ktorych spáry wapnem niezagászonym...).

Можно согласиться с издателями памятника в том, что языковедческий анализ этих разъяснений поможет решить вопрос о происхождении переводчика или писца «Назирателя» и тем самым откроет новые стороны в истории текста памятника. Но главное значение подобных явлений в том, что они дают интересные мате-

риалы для лингвистических наблюдений и выводов. Например, они позволяют ставить и обсуждать вопрос о соотношении восточнославянских и церковнославянских элементов в лексике русского языка XVI в. (ср. употребление слов *дерево/древо*, *город/град*, *один/един*, *рожение/рождение*, *рожати/раждати*, *холодныи/хладныи* и т. п.).

XVI в.— преднациональный период развития славянских литературных языков, в том числе и русского. В это время значительно расширяются экономические, политические и культурные контакты и связи между славянскими странами, особенно между Московским государством и Польшей. Влияние польского языка на русский становится особенно заметным именно в XVI—XVII вв. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники того времени — от произведений Ивана Пересветова, Ивана Грозного, князя Курбского до общерусских летописных сводов.

В «Назирателе» отражено большое количество полонизмов, и лексических и грамматических. Это делает памятник важным источником изучения межславянских (русско-польских) языковых связей в XVI в. Наибольший интерес в этом отношении, пожалуй, представляют прямые указания в тексте памятника на зависимость русского перевода от польского издания. См., например: над ним в'стави посѹдя деревꙗное или глинꙗное из широки*м* дномъ. с по полскѹ, се нарицаютъ лие*м*. или ворон'кою... л. 39 об., 12—16 [в польск.— nádeń wstáwić naczynie drzewiáne choćia gliniáne z szerokim dnem (po polsku to lijem zową)...].

Небезынтересны различного рода пропуски и сокращения текста, перестановки слов, иногда не меняющие смысла, а иногда приводящие к определенным изменениям в нем. Иногда двум словам польского издания соответствует одно в «Назирателе»: де*х*тю л. 39, 18 (в польск.— smoły wodney álbo máźi); ржа л. 179, 1 (в польск.— rdzá albo śnieć); з досокъ л. 181 об., 3 (в польск.— z desk álbo z tárćic); людемъ... ра*б*отающимъ л. 187, 2—4 (в польск.— ludźiem... robotnym á prácowitym) и т. д. В других случаях одному польскому слову соответствует несколько русских: исидорѹ мѹдрецъ во враческихъ наука*х* л. 183 об., 6—7 (в польск.— Jsydorus też Doktor). Такого рода различия имеют значение не только для характеристики перевода с польского на русский, но могут быть использованы и для характеристики польско-русских лексических соответствий и различий.

Русский переводчик стремился соблюсти точность при передаче смысла польского текста, что связано прежде всего с характером памятника, с его содержанием. Однако заметно и творческое вмешательство в текст польского издания. Так как в «Назирателе» описываются явления, не характерные для русской действительности, в тексте памятника немало изменений, приспособляющих текст к представлениям русского читателя, к кругу его хозяйственно-бытовых привычек, к понятийной сфере русского языка XVI в. Сюда относятся разнообразные вставки пояснительного характера, в том числе глоссы, служащие для разъяснения неясных или малопонятных для русского читателя слов и явлений. Ср. вставку: или ѡвощи зазяблые. какъ то сѹть пѣгвы, ꙗблока которы*х* нарицаю*т* мацаны, или кацетѹлы, а в рѹски*х* страна*х* такие ѡвощи не ѡбрѣтаютсꙗ. после воды мѹтные или гѹстые с прирожениꙗ ...л. 15, 12—17. Или: и тако рѹбежь сѹсѣдскои дѣла*ет* иногды неплодность ѡ*т*чины. наипаче *ж* в'масличномъ дереве и в' виноградѣхъ (л. 166 об., 16); сіирѣчь в'масле и в'винѣ тамо гдѣ сꙗ то роди*т*, и в нѣкіихъ растѹщи*х* веще*х*ъ (л. 167, 1—2); четвертои ѡбычаи быва*ет* прививаніꙗ складаниѧмъ какъ здѣсь прививаютъ паѧтои ѡбычаи прививаниꙗ... (л. 140 об., 4—6) и др.

Вставки и изменения, свидетельствующие о хорошем знании переводчиком (или писцом) предмета, о котором идет речь, и о его творческом отношении к тексту, представляют особый интерес и для историка языка, и для историка культуры.

Кроме явных и бесспорных полонизмов, в тексте «Назирателя» обнаруживаются элементы староукраинского языка, на что обратила внимание Л. Л. Гумецкая еще в процессе подготовки рукописи к изданию («Назиратель», стр. 66—67): 1) употребление предлога *из* с твор. пад. имен: и*з* широки*м* дномъ л. 39 об., 14 (польск.— z szerokim dnem); из сѹхотою земною л. 86 об., 7 (польск.— z suchośćia źiemną); 2) разъяснение польских слов с помощью украинских: слиская, или *хол*з'каѧ л. 82, 16—17; зап. укр. ховзький (польск. śliska); 3) употребление отдельных украинских слов: ѡ*т*вираючи л. 88 об., 7; укр. отворяти//зап.-укр. отвирати (польск. otwarzáiąc); зернета л. 111 об., 1; укр. зернята (польск. źiárná); въ степло л. 115, 6; укр. стебло (польск.— w źdzbło) и др.; 4) употребление отдельных украинских оборотов: натща срдце л. 13 об., 7; укр. натщесерце (польск. náczczo); 5) написание отглагольных существительных ср. рода им., вин. пад. ед. числа с окончаниями *я*, ꙗ, ѧ вместо *е*: тако *ж* переваренияѧ воды исправля*ет* водѹ л. 10, 12—13; укр. переварення, и некоторые другие особенности. Все это позволяет думать о наличии определенного юго-западного посредства между «Назирателем» и польским переводом труда Кресценция.

Обширный словоуказатель, приложенный к тексту «Назирателя», имеет самостоятельное значение. Он вводит в научный оборот большой массив слов, многие

из которых не зафиксированы еще ни одним лексикографическим трудом; в нем приводится исчерпывающий перечень употребляемых в рукописи знаменательных и служебных слов. Следует признать удачным способ подачи общих по происхождению слов в церковнославянском и русском звуковом оформлении, а также латинизмов, полонизмов, украинизмов и белорусских слов как самостоятельных (разных) лексических единиц: *всаждение*, *всажение*; *акт*, *актѣс* и т. д. Варианты заимствованного слова приводятся в одном месте под наиболее употребительным из них; в случаях существенных различий у вариантов последние даются каждый на своем месте: *пигви*, *пѣгви*.

Внимательный читатель может найти в этом большом и ценном труде некоторые промахи и неточности, обратит внимание на отдельные опечатки. Однако эти недочеты предстанут совершенно незначительными мелочами, если учесть ценность и значимость тщательно выполненной издателями работы.

Характеризуя издание памятника в целом, необходимо сказать о квалифицированно выполненном палеографическом описании рукописи, принадлежащем И. С. Филипповой. Опубликованный памятник «Книга глаголемаꙗ назиратель сіирѣчь ѕрѧд домовныѫ дѣтель», безусловно, привлечет внимание и языковедов, и историков, и специалистов по сельскому хозяйству и огородничеству. Это хороший подарок для всех, кто интересуется прошлым русского народа, его языком и и культурой.

Ф. П. Сороколетов

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1975

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

13 февраля 1975 г. в Институте русского языка АН СССР состоялось расширенное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению Проекта словаря языка В. И. Ленина и Инструкции по составлению картотеки словаря языка В. И. Ленина (М., 1974). На заседании присутствовали ученые из научно-исследовательских и учебных институтов и учреждений.

Открывая заседание, чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин отметил, что мысль о создании словаря языка В. И. Ленина впервые была высказана еще во второй половине 20-х годов, но так и не была осуществлена. Сравнительно недавно в Институте русского языка началась подготовительная работа по созданию словаря языка В. И. Ленина. Ф. П. Филин кратко охарактеризовал те задачи, которые стоят перед коллективом, работающим над выполнением этой темы: создание картотеки произведений языка В. И. Ленина, составление словника и самого словаря, монографические исследования по языку В. И. Ленина.

Во вступительном слове были также сформулированы основные принципы построения будущего словаря. Словарь должен быть полным, в него войдут все нарицательные слова во всех их значениях, а также терминологические сочетания и фразеологизмы, по своей семантике близкие отдельному слову. Проект предполагает возможность выделения сочетаний слов, не свойственных современному русскому литературному языку, и сочетаний, являющихся характерными для русского языка того периода или представляющих индивидуальные отличия языка В. И. Ленина. Порядок расположения слов — алфавитный.

В отличие от толковых словарей в словаре языка В. И. Ленина показ значений слов будет дифференциальным. Предполагается, что для одних групп слов в словаре не будет никаких толкований или они будут минимальными, для других толкования значений должны быть полными. Полному толкованию подлежат прежде всего слова, обозначающие систему понятий марксистско-ленинского мировоззрения. Минимально толкуются многозначные общеупотребительные знаменательные слова; к ним будут даны лишь минимальные определения-различители. Не будут толковаться служебные слова и однозначные общеупотребительные слова, значения которых совпадают со значениями тех же слов в современном литературном языке. Стилистических помет в словаре не будет. В случаях ясности текста будут даваться экспрессивно-эмоциональные пометы. Грамматическая характеристика слов будет представлена так же, как и в толковых словарях (разумеется, в пределах данных языка В. И. Ленина). Поскольку подготовка к созданию словаря еще только начинается, многое можно изменить, дополнить.

В. П. Даниленко, руководитель группы словаря, в своем сообщении рассказала об основных направлениях работы коллектива сотрудников Группы словаря языка В. И. Ленина и остановилась на тех вопросах, которые были сложными и дискуссионными в период работы над пробными статьями и над конкретными разделами проекта: в каких пределах давать в словаре словосочетания; какими рамками ограничить стилистическую характеристику слов; как последовательно реализовать дифференциальный характер словаря в отношении толкования значений слов; как отобрать слова для полного толкования; в какой последовательности подавать в словарных статьях значения многозначных слов и многие другие.

Данные в приложении к проекту словарные статьи, подчеркивает докладчик, по жанру так и остались пробными (а не образцами). Они сделаны по частичным выборкам, без картотеки; в них до некоторой степени сохранен разный подход к аналогичным словам, разное конкретное оформление их. В. П. Даниленко кратко осветила основные принципы составления картотеки, подчиненные общим принципам будущего словаря.

По словарю выполнена следующая работа: все тексты полного собрания сочинений В. И. Ленина разделены на цитатные карточки, которые размножаются типографским (ротапринтным) способом

(всего получено из типографии более полутора миллионов карточек; предполагаемое общее число цитатных карточек — 5,5 миллиона); написана «Инструкция по составлению картотеки»; для внутреннего пользования написан ряд инструкций по конкретным видам работы над картотекой; написано 120 пробных словарных статей; представлен на обсуждение Проект словаря языка В. И. Ленина; проведено исследование по обоснованию выборки некоторых категорий слов при помощи вероятностно-статистических методов; сделана экспериментальная выборка и раскладка одного тома.

После доклада развернулось широкое обсуждение проекта и инструкции. В выступлениях подчеркивалось, что создание Словаря языка В. И. Ленина является не только большим филологическим событием, но и большим политическим, культурным, интернациональным событием (Г. А. Богатова, В. В. Горбунов, П. М. Фесуненко и др.).

Выступавшие дали общую положительную оценку основных принципов и положений Проекта, отметили высокий теоретический уровень введения (чл.-корр. АН СССР Р. А. Будагов, В. В. Горбунов, П. Н. Денисов, Л. И. Скворцов, Г. А. Богатова и др.). Было указано, что найдены оптимальные варианты в решении трудных лексикографических вопросов (Н. З. Котелова), что составители избрали перспективный путь дифференциального подхода к описанию значений слов. Отмечалось, что коллектив Группы словаря языка В. И. Ленина проделал большую работу по созданию картотеки и по разработке проекта будущего словаря (А. Д. Григорьева, В. Д. Левин, В. П. Вомперский и др.). Вместе с тем говорилось о том, что ряд конкретных формулировок Проекта требует уточнений, в связи с чем были высказаны критические замечания и пожелания.

В. В. Горбунов (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, сектор произведений В. И. Ленина) предложил более четко сформулировать во введении к Проекту цели и назначение словаря. Он подчеркнул, что словарь создается прежде всего для изучения ленинского идейного наследия — это исходная методологическая задача словаря. Словарь необходим также для комментирования ленинских рукописей, для перевода произведений В. И. Ленина на все другие языки. Словарь будет иметь большое значение для развития филологической науки в целом, для изучения истории русского литературного языка нового времени.

Общефилологическое значение словаря подчеркнул в своем выступлении чл.-корр. АН СССР Р. А. Будагов. Ленинский словарь даст богатый материал для теории слова, позволит по-новому решить вопрос о соотношении научного стиля с общелитературным языком. Необходимо лучше соотнести принятые для словаря принципы с теми, которые уже выдвигались в мировой лексикографии.

Значительное место в выступлениях было уделено вопросу о типе будущего словаря. Не все выступавшие согласны с положением проекта о том, что тип толкования слов будет филологическим. По мнению В. П. Вомперского, в словаре В. И. Ленина необходимо учитывать идеологическое содержание многих слов, иначе он не сможет удовлетворить запросы читателей. Трудность будет заключаться в отборе таких слов. Так, в Проекте слово *газета* указано в той группе слов, которые не будут толковаться ввиду их общеупотребительности и однозначности. Но если исходить из материалов ленинских произведений, то это слово нужно характеризовать как идеологическое понятие. Точку зрения В. П. Вомперского разделили и некоторые другие выступающие.

По вопросу о том, будет ли проектируемый словарь словарем русского литературного языка определенного периода по сочинениям В. И. Ленина или же словарем языка В. И. Ленина как отдельного писателя с отражением всех индивидуальных особенностей, высказывались разные точки зрения. Одни (В. Д. Левин, В. П. Вомперский, Н. З. Котелова и др.) предлагали усилить индивидуально-авторский аспект словаря, раскрыть особенности ленинского стиля путем показа лексической и синтаксической сочетаемости слов, выделить индивидуально ленинские слова. Другие (И. А. Оссовецкий, В. В. Горбунов) доказывали, что показать в словаре все индивидуальное своеобразие ленинского языка и стиля лексикографическими приемами не удастся, и это нельзя считать слабой стороной словаря. Кроме того, трудность заключается в том, что индивидуально ленинское можно выявить лишь путем сравнения с общим языковым фоном. Для этого, подчеркнул чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин в заключительном слове, необходимы словари языка Г. В. Плеханова, А. М. Горького, Л. Н. Толстого и других выдающихся писателей и публицистов того времени, а их пока не существует. Даже если такие словари со временем и появятся, то вряд ли они будут словарями одного типа, а это затруднит сравнение.

В ходе обсуждения был высказан ряд замечаний по отдельным разделам словаря. В. В. Горбунов считает, что источники словаря должны быть расширены, так как отдельные важные ленинские документы не вошли в Полное собрание сочинений, а опубликованы в Ленинских сборниках и других издаваемых Институтом марксизма-ленинизма материалах. Необходимо также взять в качестве источников тексты, написанные или сказанные

В. И. Лениным на иностранных языках, и высказывания В. И. Ленина, помещенные в разделе «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина» и в примечаниях к полному собранию сочинений.

По вопросу о словнике словаря был сделан ряд конкретных предложений: 1) продумать вопрос о включении в словарь имен собственных, употребленных в прямой функции, и названий газет (В. П. Вомперский, Н. А. Янко-Триницкая); 2) включить «контаминированные» слова типа kleinbürger'ский; 3) заимствованные слова, переданные средствами латинской или греческой графики, можно поместить в приложении (Н. А. Янко-Триницкая). Высказывалось сомнение, надо ли включать в словник служебные слова (Л. И. Скворцов, В. В. Горбунов).

В. В. Горбунов предложил начать работу с составления полного частотного словаря В. И. Ленина, в котором должно быть указано количество словоупотреблений для всех слов. Полный частотный словарь, по его мнению, поможет выделить особенности ленинского стиля, окажет помощь в работе по определению авторства В. И. Ленина. А. Д. Григорьева высказала сомнение в том, что частотный словарь можно составить до создания будущего словаря языка В. И. Ленина, так как в качестве самостоятельных лексических единиц в частотном словаре должны быть указаны не только слова, но и значения слов. Г. А. Богатова считает создание такого словаря самостоятельной задачей другого коллектива.

Были высказаны некоторые пожелания и критические замечания и по вопросам толкования значений слов. Н. З. Котелова отметила, что в Проекте мало сказано о характеристике терминов, предложила точнее отбирать слова для полного толкования, отказаться от перечисления всех признаков характеризуемого предмета или явления, указала, что при толковании некоторых групп слов нельзя не учитывать культурно-исторические сведения. П. Н. Денисов подчеркнул необходимость более точной разработки всех видов определений. В. П. Вомперский говорил о том, что в словаре желательно отразить изменение значения того или иного слова в ленинских работах на протяжении всего его творчества.

Во многих выступлениях отмечалось, что при составлении словаря одного автора не во всем надо следовать установившейся лексикографической традиции. Так, не всегда уместны отсылочные определения, ими нужно пользоваться осторожно, они могут затруднить пользование словарем. Лучше давать не отсылочные определения, а развернутые (Н. З. Котелова, И. А. Оссовецкий, Н. А. Янко-Триницкая). Авторы словаря должны рассчитывать на минимальную лексикографическую осведомленность читателя и отказаться от узкого метаязыка лексикографии, упростить лексикографический язык.

Были высказаны замечания и пожелания и по другим вопросам: не давать в словаре грамматические пометы или подойти к ним дифференцированно (Г. А. Богатова); стилистические пометы давать полностью, а не ограничиваться указанием на экспрессивно-эмоциональное употребление слов (В. П. Вомперский, П. Н. Денисов, В. Д. Левин); давать стилистические пометы при тех грамматических формах слов, которые не употребительны с точки зрения современного языка (А. Д. Григорьева).

При обсуждении инструкции по составлению картотеки отмечалось, что картотека будет обширная, на ее базе можно в будущем создать разного рода словари, а также написать монографические работы. В связи с картотекой было затронуто в основном два вопроса: способ создания картотеки и ограничение в разумных пределах ее объема. По первому вопросу мнения выступавших разделились. Одни говорили о необходимости использования вычислительной техники при создании картотеки (Л. И. Скворцов и В. В. Горбунов), другие ставили под сомнение возможность создания картотеки при помощи ЭВМ (Г. А. Богатова), считали преждевременным отказываться от традиционных способов создания универсальной картотеки (П. Н. Денисов). Впоследствии, когда картотека будет создана, ее можно переписать на магнитную ленту и на перфокарты. Г. А. Богатова остановилась на необходимости сократить объем картотеки. Для этого нужно установить предел информативности картотечного материала для различных групп слов.

Ряд конкретных критических замечаний был высказан в адрес пробных словарных статей: недостаточная четкость в разграничении фактов языка В. И. Ленина и фактов литературного языка, языка и речи (Н. З. Котелова); неточные определения значений слов, иногда чрезмерно общие, иногда слишком узкие (В. Д. Левин); неточная и нечеткая классификация значений и последовательность их подачи (Л. И. Скворцов и др.); неразработанность фразеологического материала и непоследовательная его квалификация (П. Н. Денисов, Л. И. Скворцов, Н. А. Янко-Триницкая); не всегда правильное использование пометы «образное» (Н. А. Янко-Триницкая); неудачные иллюстрации (Н. З. Котелова, П. Н. Денисов и др.). Вместе с тем высказывалось мнение, что споры по отдельным словам пока преждевременны (Р. А. Будагов), что на данном этапе обсуждения трудно давать конкретные рецепты, основной

задачей должно быть обсуждение общих принципов словаря (Г. А. Богатова).

Ф. П. Филин подвел итоги обсуждения, подчеркнув его плодотворность.

Е. Л. Лилеева (Москва)

*

С 8 по 12 октября 1974 г. в Лейпциге (ГДР) состоялось очередное заседание Комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов. Руководил проведением заседания, ввиду болезни председателя Комиссии акад. Б. Гавранка (ЧССР), акад. Р. Ружичка (ГДР).

Первым и основным вопросом программы заседания было обсуждение принципов построения описательных грамматик славянских языков. Материалом для обсуждения послужили проекты описательных грамматик чешского и польского языков, полученные участниками заседания для изучения незадолго до заседания, а также опубликованный еще в 1972 г. проспект «Русской грамматики» под ред. Н. Ю. Шведовой. Польский проект подготовлен в Лаборатории грамматической структуры современного польского языка ПАН под руководством З. Тополиньской, а чешский — коллективом чешских грамматистов (Фр. Данеш, М. Грепль, К. Гаузенблас, З. Главса, М. Комарек, Я. Корженский, Р. Мразек).

Принципы, положенные в основу чешского и польского проектов, были подробно изложены в докладах авторов — К. Гаузенбласа, М. Грепля и М. Комарека (ЧССР), З. Тополиньской, С. Кароляка и М. Гроховского (Польша). Советский же проспект, бывший уже предметом научных дискуссий, был лишь кратко затронут в докладе Н. Ю. Шведовой (СССР). Н. Ю. Шведова акцентировала общие теоретические положения, которые легли в основу готовящейся в Институте русского языка АН СССР большой «Русской грамматики». В той части доклада, которая была посвящена синтаксису, были рассмотрены те теоретические принципы, на которых базируется в книге описание семантической структуры простого предложения, выделение центральных категорий этой структуры и соотносительное описание собственно формальной и семантической организации предложения.

Кроме указанных докладов, вопросам разработки описательных грамматик славянских языков были посвящены доклады Р. Ружички и А. В. Бондарко (СССР). Р. Ружичка посвятил свой доклад вопросу о соотношении синтаксической структуры и значения предложения. Напомнив высказывания Л. В. Щербы, выдвинувшего еще в 30-х годах задачу изучения правил построения значения предложения из значений его составляющих, докладчик отметил, что далеко не всегда синтаксические отношения, характерные для предложения, прямо отражают его значение и, следовательно, для соотнесения семантического представления предложения с его поверхностной структурой необходимо включение в описание глубинно-синтаксических репрезентаций.

А. В. Бондарко представил Комиссии самостоятельный «Проспект функциональной морфологии русского языка». Автор проспекта исходит из понимания функциональной морфологии как грамматического учения о слове («грамматическом слове») с функциональной точки зрения. Центральным объектом описания являются, по мысли автора, морфологические категории, их функции и структура, части речи, а также лексико-грамматические разряды, прежде всего с точки зрения их влияния на морфологические категории. Докладчик подробно остановился на учении о морфологических категориях, на их соотношении с лексико-грамматическими разрядами и связях с другими компонентами функционально-семантических полей.

К. Писаркова (Польша) продемонстрировала в своем докладе методы содержательного анализа синтаксических структур на материале конкретного текста.

По всем докладам, в особенности по тем, которые комментировали предложенные концепции описательных грамматик, развернулась широкая дискуссия. В ней выступило более 20 участников.

В ряде выступлений — К. Горалка (ЧССР), А. В. Бондарко, К. Поляньского (Польша), в зачитанном на заседании письме члена Комиссии И. Лекова (Болгария) — были подчеркнуты общие принципы, характерные для всех предложенных проектов: развитие славянских грамматических традиций, отказ от методов генеративной грамматики, динамический синхронизм описания, внимание к грамматической семантике. С. Иванчев (Болгария), К. Гаузенблас и др. отметили возможность и оправданность двух разных, но теоретически равноценных подходов к грамматическому описанию: «от формы к значению» и «от значения к форме».

Как в польском, так и в чешском проектах представлен подход «от значения к форме», «от синтаксиса к морфологии». Наиболее детально разработаны принципы такого описания в чешском проекте. По мнению авторов проекта, морфологический знак как целое (как билатеральное единство) является с функциональной точки зрения «компонентом выражения синтаксического знака», т. е. в конечном итоге служит выражению пропо-

зиционного значения, данного семантикой «образца предложения». С этой исходной позиции основные единицы морфологической системы — части речи и морфологические категории — определяются прежде всего по их синтаксическим функциям, причем принципиальное значение приобретает выделение первичных и вторичных синтаксических функций у основных частей речи.

В дискуссии было обращено внимание на возможность применения последовательного подхода «от значения к форме», на характеристику отдельных семантических элементов высказывания и их синтаксических репрезентаций с учетом асимметрических отношений формы и значения, на методику классификации предикатов и другие более конкретные вопросы синтаксиса и морфологии. Много внимания было уделено понятию пропозиции с точки зрения логической и философской, была признана целесообразность его применения в синтаксисе, хотя в некоторых выступлениях было высказано пожелание более точного ограничения этого понятия. Большой интерес вызвала проблематика гиперсинтаксиса и проект ее решения в чешской концепции, причем была отмечена необходимость дальнейшей разработки этой проблематики (Й. Мистрик, ЧССР) и важность выявления собственно грамматических признаков этого уровня синтаксиса (Н. Ю. Шведова). В выступлении О. Лешки (ЧССР) была высказана мысль о целесообразности включения в грамматическое описание целостного стратифицированного описания формальной стороны языка, охватывающего фонетический, фонемический и морфофонемический уровни.

Второй проблемой, включенной в программу заседания, была синтаксическая конденсация в славянских языках. Актуальным вопросам синтаксической конденсации были посвящены доклады М. Ивич (Югославия), П. Сгалла (ЧССР), А. Е. Михневича (СССР) и сообщение Я. Качалы (ЧССР). В докладах получили освещение такие вопросы, как типология синтаксической конденсации, фазы или степени «свертывания» формы при этом явлении, виды «конденсаторов», соотношение лексической (лексико-словообразовательной) и семантико-синтаксической конденсации (А. Е. Михневич), конкретные вопросы структуры сложного предложения как конденсата нескольких предложенческих структур (Я. Качала). Проблематика конденсации также вызвала живую дискуссию (К. Горалек, К. Гаузенблас, З. Тополиньска, Р. Ружичка и др.). Выступавшие подчеркнули оправданность и полезность при изучении конденсации применения методов трансформационного анализа. Вместе с тем было отмечено, что синтаксическую конденсацию можно понимать более широко и более узко и что поэтому необходимо точнее определить рамки этого понятия.

Комиссия приняла решение продолжить обсуждение обеих затронутых проблем на следующем заседании, которое состоится в октябре 1975 г. в Югославии (Скопле).

В. В. Лопатин (Москва)

*

9 января 1975 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись традиционные шестые чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова, посвященные истории восточнославянских литературных языков.

Во вступительном слове чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин отметил мемориальный характер чтений, состоявшихся накануне 80-летия со дня рождения ученого. Высоко оценив многочисленное лингвистическое наследие В. В. Виноградова, он остановился на капитальных трудах ученого по истории литературных восточнославянских языков, в частности на «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», в которых впервые представлена общая и цельная картина русского литературного языка этого периода. Ф. П. Филин указал на необходимость дальнейшей разработки этой проблемы и создания подобного синтетического фундаментального труда по истории русского литературного языка XVIII—XX вв.

От лица учеников В. В. Виноградова выступила Н. Ю. Шведова. Осветив круг научно-педагогической деятельности своего учителя, определяющие черты личности ученого, она подчеркнула огромную роль, которую он сыграл в истории русской культуры, будучи ее достойным носителем.

В докладе А. И. Горшкова «Русский литературный язык как историческая реальность» развивался тезис В. В. Виноградова о том, что «литературный язык общепризнанно считается не подлежащей никакому сомнению языковой реальностью»[1]. Докладчик, отметив различное понимание реальности литературного языка, вслед за акад. В. В. Виноградовым обращается к его истории, так как такой подход помогает выявить как свойства и качества литературного языка, так и сферы его функционирования на разных этапах развития. Понимание литературного языка как языка литературы в широком смысле слова, отраженное в трудах В. В. Вино-

[1] В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 100—101.

градова, связывает историю русского литературного языка с историей русской литературы, что обнаруживает социальную природу литературного языка и определяет его лингвистическую реальность. Окончательное формирование литературного языка, функции которого все более расширяются, как подчеркнул докладчик, происходит в письменности. Дискуссия о старославянской или древнерусской «основе» литературного языка уводила от понимания его как исторической реальности, к чему возвратило положение В. В. Виноградова о двух типах литературного языка. Большое значение академик придавал, как было подчеркнуто в докладе, определению круга памятников, в которых представлен русский литературный язык древнейшей поры.

В докладе В. П. Вомперского «Литература барокко в России и ее язык (конец XVII — начало XVIII вв.)» также развивалась точка зрения В. В. Виноградова о тесной связи русского литературного языка с языком литературы. В докладе она нашла конкретное выражение в стилистическом анализе «бароккальной» литературы как литературы такого направления, которое занимало промежуточное положение между средневековой традицией и литературой нового времени. Характерной чертой этой литературы, по мнению докладчика, является связь с практикой школьного образования и обращенность к высоким жанрам нравоучительной панегирической поэзии, ораторской прозе и драматургии. Для этого литературного движения был характерен интерес к проблемам стиля, к форме литературного произведения, вытеснившей содержание, что сказалось на решении проблемы выбора слова, на предпочтении абстрактного конкретному, на тщательной разработке системы амплификаций, на внимании к графической композиции стихов и к вопросам версификации и синтаксического строения речи. Отметив пестроту словарного состава и грамматических особенностей «бароккальной» литературной речи, докладчик объясняет это следующими причинами: 1) отсутствием в литературном языке второй половины XVII — первой четверти XVIII в. единых норм речевого выражения; 2) изменением и расширением функций литературного языка; 3) наличием в нем слов и форм Юго-Западной Руси. Последнее объясняется тем, что создателями литературы русского барокко были выходцы из Киево-Могилянской академии. Литературе барокко, по мнению докладчика, суждено было сыграть заметную роль, так как в ее недрах было положено начало разработки новых принципов высокого стиля русского литературного языка.

В докладе А. И. Журавского «Жанрово-стилистическая дифференциация старобелорусского литературного языка» шла речь о взаимоотношении белорусского языка древней поры с языком церковнославянским, чему В. В. Виноградов уделял в своих работах большое внимание в плане изучения взаимообогащения восточнославянских литературных языков. Докладчик указал, что жанрово-стилистическая характеристика старобелорусской письменности определялась взаимоотношением старобелорусского языка с языком церковнославянским, изменение которого привело в первой половине XVI в. к началу образования единой системы старобелорусского литературного языка, противопоставленной письменности на церковнославянском языке. Сфера применения последней стала к этому времени ограничиваться богослужебной литературой.

Изучение языка художественной литературы ставилось В. В. Виноградовым в тесную связь с исследованием истории русского литературного языка. Доклады, посвященные анализу стиля и языка художественной литературы, развивали и конкретизировали такой подход. В докладе И. И. Ковтуновой «Соотношение нейтральных и экспрессивных форм словорасположения в истории русского литературного языка нового времени» в конкретно-историческом аспекте рассматривалась проблема изменения в стилистической значимости средств словорасположения. Это изменение рассматривалось докладчиком в зависимости от процессов, происходивших в языке художественной литературы второй половины XVIII — первой трети XIX в. Эта эпоха наиболее глубоко и всесторонне изучена в трудах акад. В. В. Виноградова. Опираясь на основные положения В. В. Виноградова о том, что литературно-языковая нормализация в области синтаксиса произошла в середине XVIII в., И. И. Ковтунова на материале художественных текстов показала, как смена литературных направлений определяла изменения в стилистической системе средств словорасположения. В поэтике классицизма и в теории и практике трех стилей схемы словорасположения, различающиеся стилистически и унаследованные от книжно-славянского типа литературного языка, являлись эффективными синтаксическими средствами высокого слога, служившими украшению речи. Изменения в стилистической системе словорасположения стали возможны в связи с распадом трех стилей и отнесением высоких жанров на периферию художественной литературы. В ритмизованной прозе «нового слога» Карамзина и его последователей изменения в стилистической системе словорасположения происходили как путем устранения большинства стилистически окрашенных форм, так и путем преобразования стилистической окраски некоторых конструкций

из высокой в поэтическую. Новая стилистическая система словорасположения связана с прозой Пушкина, рисующего мир, по мысли В. В. Виноградова, в свете его социально-языкового самоопределения. Пушкин расширяет стилистические функции порядка слов путем применения его экспрессивных форм, способных к индивидуальному варьированию, что в прозе реалистического типа играло изобразительную роль. Докладчик подчеркнул, что В. В. Виноградову принадлежит открытие и подробное описание приемов «синтаксической изобразительности». В «орнаментальной» прозе XX в. формы словорасположения, по мнению докладчика, имеют поэтическую окраску.

В докладе Н. А. Кожевниковой «Из истории языка советской литературы (язык орнаментальной прозы)» было показано, что орнаментальная проза возникла в начале XX в. как выражение тенденции языка художественной литературы к обновлению и обогащению. Она отличалась непрямым словоупотреблением, ориентированным на самоцельное эстетически значимое слово, что приближало прозу к стиху. Основа орнаментального словоупотребления — разветвленная система тропов — составляет ткань повествования, в которой главными принципами организации текста являются повтор, лейтмотив и множественность обозначения одной и той же реалии. Докладчик показал в связи с этим, что типичным явлением для орнаментальной прозы была зависимость слова от контекста и его необычно тесная связь с другими словами. Остановившись на отношениях между литературным языком и языком орнаментальной прозы, Н. А. Кожевникова приходит к выводу, что последняя определяется стремлением к разрушению обычной сочетаемости и усилением словесных связей и потенций литературного языка как базы, на основе которой она возникает.

Виноградовские чтения 1975 г. показали, что разработанные В. В. Виноградовым принципы и методы науки о языке художественной литературы и о развитии восточнославянских литературных языков успешно претворяются в современной филологии.

В. К. Юношева (Москва)

CONTENTS

Articles: I. K. Beloded (Kiev). The functioning of languages of the peoples of the USSR during the growth of socialist nations; V. A. Avrorin (Leningrad). On the subject-matter of social linguistics; **Discussions:** N. M. Kurmanbayev (Alma-Ata). On the Cartesian foundations of generative linguistics; V. V. Lopatin (Moscow). The so-called interfixation and the problem of word-structure in Russian; I. S. Ulukhanov (Moscow). The relation of motivation between verbs and nomina actionis; E. V. Sevortian (Moscow). Is the phonetic archetype of the whole word always necessary for the reconstruction? M. D. Stepanova (Moscow). Problems of patterning in word-formation and some prerequisites for the realisation of the models; **Materials and notes:** S. G. Rudin. Specialized verbal combinations in Tamil; B. B. Khodorkovskaya (Moscow). Sigmatic future in Oscan-Umbrian; R. K. Potapova, N. G. Kamyšnaya (Moscow). The syllable and its perceptual-temporal correlates; L. N. Murzin (Perm). Problems of derivation of the sentence in the Russian logical grammar of the XIX century; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: I. K. Beloded (Kiev). Le fonctionnement de langues des peuples de l'URSS dans les conditions de l'essor des nations socialistes; V. A. Avrorin (Léningrad). Sur les objectifs de la linguistique sociale; **Discussions:** N. M. Kurmanbajev (Alma-Ata). A propos des fondements cartésiens de la linguistique générative; V. V. Lopatin (Moscou). La soi-disant interfixation et prblèmes de la structure de mot en russe; I. S. Uluxanov (Moscou). Les rapports de motivation entre les verbes et les noms d'action; E. V. Sevortjan (Moscou). L'archétype phonétique du mot entier est-il toujours nécéssaire pour la reconstruction? M. D. Stepanova (Moscou). Modèles de formation des mots et conditions de leur realisation; **Matériaux et notices:** S. G. Rudin. Groupes verbaux specialises en tamil; B. B. Xodorkovskaja (Moscou). Le futur sigmatique en osci-ombrien; R. K. Potapova, N. G. Kamyšnaja (Moscou). La syllabe et ses corrélations percéptuelles et temporelles; L. N. Murzin (Perm). Problèmes de la dérivation de la proposition dans la grammaire logique russe du XIX siècle; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29/IV-1975 г. Т-10550 Подписано к печати 7/VII-1975 г. Тираж 7085 экз.
Зак. 2196 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 11,9 Бум. л. 4¹/₄ Уч.-изд. л. 13,4

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10